

ОГОНЁК
№ 47 НОЯБРЬ 1957
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



. Навашина-Крандиевская. В ГЛУБЬ ВСЕЛЕННОЙ.

а первой странице обложки: Япония. Работница на строительстве мостовой в городе Ниигата.

а последней странице обложки: Япония. Город Осака. В дождливый вечер.

Фото Н. Козловского.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

№ 47 (1588) 17 НОЯБРЯ 1957

35-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Куйбышевская ГЭС. Общий вид водосливной плотины со стороны нижнего бьефа.

— Куйбышевская ГЭС работает на полную мощность!

Радостная эта весть облетела все уголки страны. Строителей крупнейшей в мире электростанции горячо поздравляют все советские люди.

Верхний шлюз для прохода судов.

Наш ток пошел в Москву!

Фото С. Раскина.



Самолет «ТУ-114».

«ТУ-114» ВЫХОДИТ НА СТАРТ

Узкая асфальтированная дорожка приводит к аэродрому, на краю которого стоит серебристый самолет. Мы останавливаемся и с нетерпением спрашиваем у заместителя начальника летной станции Бориса Николаевича Гроздова:



Бортпроводница Валентина Титова в кухне.

Пассажирский салон.



— А где же «ТУ-114»?

— Да вон, перед вами. Здесь других машин нет.

Мы разочарованы. Вспоминаются газетные сообщения: «...Самый большой воздушный корабль в мире. Может взять на борт двести двадцать пассажиров, пересекать без посадки континенты и океаны...» А самолет, который мы видим издали, не поражает размерами. Его строго очерченный сигарообразный фюзеляж, отогнутые назад стреловидные крылья и хвостовое оперение кажутся изящными, легкими, неспособными вместить столько людей.

Мы подходим ближе и начинаем понимать, что истинную величину воздушного корабля скрадывает совершенство его пропорций и форм. По металлической лестнице поднимаемся на высоту третьего этажа, на борт «ТУ-114». Знакомимся с экипажем. Командир корабля Алексей Петрович Якимов и второй летчик Юрий Тимофеевич Алашеев — опытные испытатели. Алексей Петрович более семнадцати лет проверяет в воздухе конструкции новых самолетов. Юрий Тимофеевич первым совершил полет на самолете «ТУ-104».

Экипаж занят подготовкой к полету, и мы с представителем завода осматриваем самолет, созданный большим коллективом во главе с генеральным конструктором, дважды Героем Социалистического Труда А. Н. Туполевым.

В салонах воздушного корабля все сделано для удобства пассажиров. За вторым салоном помещается буфет. Здесь с оборудованием уже знакомится бортпроводница Валентина Григорьевна Титова, которой предстоит летать на самолетах «ТУ-114» по авиационным линиям. «Хозяйство» у нее сложное. На большом пульте целая серия кнопок и выключателей. Все механизировано: кушанья и посуда из кухни подаются автоматически, лифтом. Отсюда же включается освещение салонов, плит и духовых шкафов на кухне. Расходуемой здесь электроэнергии хватило бы на освещение небольшого поселка.

«ТУ-114» — двухэтажный корабль. В верхнем этаже размещаются пассажиры. По лестнице мы спускаемся из буфета вниз, где расположены отсеки для багажа, груза, почты. Тут же комната отдыха экипажа.

Все помещения «ТУ-114» герметизированы, и при полете на высоте 10—12 тысяч метров пассажиры не будут ощущать ни кислородного голода, ни вредного влияния низкого атмосферного давления.

— А вдруг на такой высоте герметичность кабины нарушится? — спросил я.

Мне ответили, что это почти невозможно, но конструкторы предусмотрели такую неприятную неожиданность. Как только давление в салонах упадет ниже нормального, сработает специальный прибор. Он откроет шкафчики, размещенные около сидений пассажиров, из которых выпадут кислородные маски, и сразу же включится подача кислорода.

Приближается время начала испытаний, и мы покидаем борт воздушного корабля.

...Вот уже все двигатели, сконструированные коллективом, возглавляемым Героем Социалистического Труда Н. Д. Кузнецовым, работают на полную мощность. Мы



Купе, рассчитанное на три спальных места. Таких купе на воздушном корабле четыре.



Это же купе днем.

стоим далеко от них, и, тем не менее, чувствуем себя ничтожно малыми в сравнении с ними, ревущими десятками тысяч лошадиных сил. Последняя проба двигателей, и гигантский воздушный корабль трогается с места и рулит на старт.

А. ГОЛИКОВ
Фото Б. Кузьмина.



10 ноября председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпов дал прием по случаю 80-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В числе гостей на приеме присутствовали председатель Христианско-Демократического союза ГДР Отто Нушке, глава Чехословацкого общегосударственного комитета римско-католических священников в защиту мира Йозеф Плойгар. На снимке: во время приема. Справа налево — председатель Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонов, Г. Г. Карпов, Патриарх Алексий, Отто Нушке и председатель Славянского комитета СССР А. С. Гундоров.

Фото Г. Дубинского.

Китайская графика

В Музее восточных культур открыта выставка современной китайской графики. Она невелика, но, тем не менее, выразительно говорит о думах и чувствах молодых китайских художников. На ней представлены работы, созданные в последние два — три года. Естествеино поэтому, что тематически она вся устремлена в сегодняшний день.

Выставка очень разнообразна. Рядом с рисунком, прозаически подписанным словами «Надо собирать каждое зерно», висит «Фиолетовый куст», лирично исполненный Ли Цюнем. Вместе со школьной темой можно увидеть большую картину «Трудный путь Красной Армии». Молодые графики хорошо чувствуют пульс жизни современного Китая и образно показывают его социалистическое строительство, новую деревню, быт, характеры людей. Активное жизнеутверждение — вот основной мотив всех выставленных работ.

Графика Китая имеет богатую историю. Она существует много столетий. Основные ее черты — изящество рисунка, точность линий, мягкий колорит. Эти же черты можно видеть и на выставке современной графики.

Сильное впечатление оставляет работа художника Ван Ци «Возвращение вечером». На розовом фоне закатного неба кони, запряженные в двуколку, тянут горы сена. Над этим простым деревенским пейзажем, в котором много покоя и обыденности, художник вписал ветки раскидистой кроны старого дерева. Гравюра стала выразительнее и поэтичнее. Очень интересны работы Мо Цэ «Раннее утро» и «Рыбная ловля», Лю Луна «Всадник в степи», Чжан Цзао-си «Несут обед в поле», Лю Куана «Камни и бревна побьют врага».

Графики показали много пейзажей, проникнутых любовью к родной природе, и иллюстраций к произведениям китайских писателей, в частности Лу Синя, который, как известно, очень любил искусство гравюры и много сделал для знакомства китайских художников с советской графикой.

Выставка современной китайской графики пользуется у москвичей успехом.



На открытии выставки современной китайской графики. Пионеры преподносят цветы министру культуры Китайской Народной Республики тов. Шэнь Ян-бину (Мао Дуню).

Фото Ф. Короткевича.

ФОТОГРАФИИ «ОГОНЬКА» В ПРАГЕ



В Праге открылась выставка фотографий «Огонька». Выставка организована Союзом чехословацко-советской дружбы и редакцией журнала «Свет Совету» в связи с 40-летием Великого Октября и месячником чехословацко-советской дружбы.

А. СЕЛЬЧИНСКИЙ

13 ноября в 7 часов утра в Праге после непродолжительной тяжелой болезни скончался Президент Чехословацкой Республики, член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, выдающийся деятель международного рабочего движения, верный друг Советского Союза товарищ Антонин Запотоцкий.



Праздник СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ф. БОГОРОДСКИЙ,
председатель Московского союза художников СССР

Открылась Всесоюзная художественная выставка, приуроченная к славному юбилею 40-летия Великого Октября.

Десять тысяч произведений искусства представлено в выставочных залах — лучшее из того, что создано творческим вдохновением могучего отряда советских художников. Такого обилия не знал еще ни один итоговый смотр изобразительного искусства. Количественный рост очевиден. До сих пор наши всесоюзные выставки проходили, как правило, в помещении Государственной Третьяковской галереи, занимая часть ее залов. Теперь художникам предоставлено чудесное помещение в центре города — здание Манежа, превращенного отныне в Центральный выставочный зал.

Блещет новизной красок мягкого тона, радуя глаз, старинный Манеж — один из красивейших архитектурных памятников начала прошлого века. Но вот вы вошли в гостеприимно распахнутые двери, шагаете по серо-розовым плиткам пола, переходите из одного раздела в другой. Светло, празднично, торжественно! И какое богатство открывается взору!

Вы еще только начали свое знакомство с юбилейной выставкой — здесь собрана живопись и скульптура. Осмотр их займет несколько часов, а вас еще манят работы советских графиков, заполнившие до отказа залы, фойе, коридоры Академии художеств СССР, а в нескольких залах Дома художника разместилось прикладное искусство, всегда вызывающее общее восхищение. Но и это еще не все: филиалы выставки открыты в клубах и дворцах культуры столицы.

Таким небывало широким показом своего творчества отмечают великий праздник советские живописцы, скульпторы, графики, мастера прикладного искусства.

Бесконечно разнообразна тематика всех этих полотен, графических листов, скульптур, иллюстраций и рисунков. Тут и героические страницы революционной истории нашего многонационального народа, и страницы истории партии, жизни и деятельности ее вождя В. И. Ленина, тут сама действительность, кипучая и разносторонняя. Ходишь от стенда к стенду, приглядываешься к радостному блеску взоров многочисленных зрителей, переживаешь все это, как свое, кровное дело, и думаешь: да, наши художники — активные участники созидательной жизни народа! Наши художники сейчас повествуют об этой жизни в тысячах своих произведений, взволнованно, со страстной заинтересованностью, с любовью.

Зритель еще скажет свое слово,— появились только первые записи в заветных для нас книгах посещений. Мы ждем этого слова. Быть может, наш главный судья найдет и на этой выставке кое-какие следы недавнего пристрастия некоторой части художников к внешней парадности или к слащавой умиленности. Я уверен все же, что таких следов будет очень немного. Огромная масса показанных на выставке полотен не обманет нетерпеливых ожиданий наших зрителей. Об этом нетерпении мы могли судить еще до открытия выставки: часами стояли у Манежа наши будущие посетители, ожидая окончания его убранства, наблюдая позднее потоки машин с картинами и скульптурами. И пока голос зрителя еще не дошел до нас, художников, хочется сказать обо всем, что думается сейчас, в эти беспокойные и радостные дни.

Большой и богатой была жизнь нашего изобразительного искусства за годы Советской власти. Дорога нашего искусства, цели и интересы его были общими с народом, совершившим великое преобразование страны, построившим новый общественный строй. В благородной борьбе за это новое отодвинулись, затерялись в далеком прошлом узкие тропочки индивидуализма, по которым когда-то пытались «шествовать» иные «избранники», отмеченные «небесным даром». И мы с гордостью говорим сегодня: наше искусство, искусство социалистического реализма,— подлинное детище Великой Октябрьской социалистической революции.

Посмотрите, походите по выставочным залам — современность! К ней обращено сегодня творчество художников. У нас появились певцы целины, грандиозного народного движения. Из года в год настойчиво и усердно накапливают они свои наблюдения, чтобы потом по сотиям этюдов создавать живописные композиции или графические сюиты, подобно представленным среди экспонатов нынешней выставки. Маршруты новой пятилетки — сооружение гидростанций на Волге и Ангаре, труд полярников и людей Крайнего Севера, славные дела тружеников индустрии и колхозных полей, пафос гигантского строительства — все сегодня получает отражение в нашем искусстве,— может, не всегда и не во всем еще достаточно широко и глубоко, порою еще спеша и не вполне отделывая, но начало положено.



В. Серов. ЖДУТ СИГНАЛА. (Перед штурмом).

Нас, художников старшего поколения, не может не радовать и другая особенность нынешней выставки: то, что среди экспонентов так много молодых и совсем молодых, и притом талантливых, ищущих, работающих серьезно и требовательных к себе.

— А ведь мастерство-то заметно выросло,— сказал один из нас, в последний раз оглядывая (если можно оглядеть такое разом) выставку в канун открытия для публики.

Да, и это бесспорно: многообразие индивидуальных манер на-

Центральный выставочный зал.
Фото Ф. Кислова.



лицо, общий уровень выше, чем на предыдущих смотрах. Очень много новых имен, и ведь не с неба же они свалились!

И еще один радостный вывод: необычайно широко показывают свои художественные сокровища национальные наши республики. Российская Федерация и Украина, Белоруссия и Грузия, Армения и Азербайджан, Казахстан и республики Средней Азии, Молдавия и республики Советской Прибалтики... Мастера этих республик — певцы новой и радостной жизни своих народов — ведут рассказ о грандиозных переменах, которые принесла с собой социалистическая революция.

И невольно опять — в который уже раз! — припомнилась недавняя Международная художественная выставка, состоявшаяся в этом году в Москве. С каким большим теплом встретили тогда наши зрители лучшие ее произведения, проникнутые высоким гуманизмом, овеянные дыханием подлинной и вечной красоты! Таких произведений на Международной выставке было немало, и забыть о них невозможно. Это было живое свидетельство плодоносности творчества, когда оно согрето любовью к людям и миру.

Но на Международной выставке было представлено и искусство, которое почему-то принято называть в иных кругах ультрасовременным, по мнению некоторых «ценителей», «выражающим дух времени», бурного, сложного, напряженного. Среди «ценителей» такого искусства, как мы знаем, бытуют суждения о том, что, дескать, изобразительное искусство в наш век атома, кино, телевидения, век спутников обречено на гибель, что надо искать и находить новые формы, созвучные времени. И вот мы наблюдали собственными глазами, как произведения этих «сынов века» на выставке изо дня в день собирали толпы зрителей, привлеченных «сенсационностью». Мы, правда, не видели около таких произведений зрителей, застывших в многоговорящем молчании или с глазами, увлажненными чувством, как это, например, бывает у произведений великих мастеров прошлого. Громкий смех, недоуменное пожатие плеч. «Что это?», «Что это должно означать?». Сожаление, удивление — вот какой была реакция наших зрителей на «шедевры» абстракционизма. Да и как могло быть иначе!.. Что другое могли вызвать полотна или картоны, покрытые бесформенными наплывами красок, клубком перепутанных линий, сквозь которые иной раз проглядывали то ехидно прищуренный глаз, то оскаленная пасть, то изуродованные конечности? Пищи для ума и сердца никакой! Не было и радости или других хороших чувств, какие обычно вызывают произведения искусства.

Не могу не сказать о том, что в дни фестиваля правление Московского союза советских художников провело прием иностранных художников. Пришли итальянцы, французы, португальцы, бельгийцы, американцы, мексиканцы, чилийцы, художники многих других стран. Говорили обо всем: о фестивале, о Москве, о жизни вообще и, конечно, об искусстве. И вот, когда разговор зашел об искусстве, он принял несколько дискуссионный характер: далеко не все наши гости стояли на позициях реалистического искусства. Очень любопытный разговор во время этой встречи произошел у меня с представителем абстракционизма — американским художником Холманом. Показательно, что разговор об искусстве шел у нас, тесно переплетаясь с вопросами политики. Это и естественно: ведь искусство — это идеология и художник — активный борец за тот или иной путь исторического развития общества.

В ходе нашей беседы мы сказали нашему гостю Холману, что и у нас были свои, отечественные формалисты и абстракционисты сорок лет назад. Но они были так же непонятны, как и современные зарубежные абстракционисты, и их картины давно уже покрылись пылью на складах: ни одна не выдержала испытания временем.

Американский художник не сдавался:

— Почему вы думаете, что абстрактное искусство непонятно народу? Посмотрите, сколько толпится зрителей около абстрактных картин!

— Неужели вы не понимаете,— ответили мы,— что на эти картины смотрят как на «заморское диво», относятся к ним только как к смешному анекдоту? Да и послушали бы вы, что говорят у ваших стендов!

Холман решил наступать:

— Но ведь живопись — дело индивидуальное. Художник должен излить свои переживания вне всякой зависимости от окружающего мира. Пусть он пишет пятнами, брызгами, точками — как угодно, лишь бы передать свое внутреннее состояние. Придет время — и его поймут...

— Нет, никогда не придет такое время!

Эти слова произнесли уже не мы, советские художники. На нашей стороне теперь были и мексиканцы, и португальцы, и итальянцы... И они хорошо понимали цели и задачи большого, настоящего искусства, ценили волнующую радость быть понятыми миллионами зрителей.

И когда американский художник пустил в ход свой последний козырь, заявив, что искусство не должно быть национальным, он остался в полном одиночестве. И сегодня он со своими доводами бит еще раз: многонациональная наша страна широко демонстрирует ныне расцвет искусства каждого народа, входящего в советскую социалистическую державу.

Будем говорить прямо: искусство абстрактное служит потребностям узкого круга людей пресыщенных, морально обанкротившихся. Подлинный адрес искусства — народ. Тот, кто трудится, тот, кто создает все материальные ценности мира, имеет право на самые лучшие, самые высокие духовные радости. Такие радости может доставить ему искусство идейное и художественно полноценное. Пытаться удовлетворить эту законную потребность масс искусством абстрактным — все равно что вложить в руку голодного камень...

Кровная близость нашего творчества к народу, великий труд которого мы воспеваем, она, и только она, дает искусству живительную силу.



К. Юон. НОВАЯ МОСКВА.



С. Герасимов. ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ.



Т. Оганесов. ХЛОПКОРОБЫ.

Битва с вирусом A_2

Я. МИЛЕЦКИЙ

Фото С. Фридлянда.

— Вот так выглядит вирус A_2, вызвавший пандемию гриппа,— сказала нам старший научный сотрудник Института вирусологии Академии медицинских наук СССР Валентина Васильевна Ритова и положила на стол фотоснимок — черные точки были разбросаны по светлому полю.

Мы увидели вирусы A_2 такими, какими их видит исследователь в электронный микроскоп при увеличении в 28 тысяч раз. Этот снимок сделан в лаборатории института молодым биологом Верой Лотте.

Так выглядит зловредный вирус...

Советские ученые, предвидя неизбежность пандемии гриппа и на территории Советского Союза, широко развернули научные исследования для выяснения новой разновидности возбудителя тяжелой болезни. Это было еще до того, как весной она впервые распространилась в ряде городов Средней Азии, Сибири и Урала. И когда осенью заболеваемость резко возросла, советские вирусологи уже знали нового врага— возбудителя «азиатского гриппа», вирус A_2.

В. В. Ритова была в числе тех советских ученых, которые смело начали битву с ним. Еще весной им удалось обнаружить его у больных и изучить его. Вскоре были получены вирусы из Пекина и Сингапура от профессоров Чу и Хоэла. Оказалось, что вирусы, выделенные у нас и за рубежом, схожи друг с другом. Враг найден, теперь его нужно уничтожить.

Еще один научный эксперимент проводит доктор медицинских наук Валентина Васильевна Ритова.

Ученые двух институтов — Института вирусологии Академии медицинских наук и Московского научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова—широко развернули свои исследования. Цель одна: получить профилактическую вакцину против нового вируса и противогриппозную сыворотку. И вот первая победа: изготовленные в лаборатории вакцины опробованы, их действие проверено сначала на добровольцах, большинство которых составляли медицинские работники. Ученые и сейчас еще наблюдают за ними и с удовлетворением отмечают, что ни один из них не заболел даже в период пандемии.

Советская гриппозная вакцина приготовляется из живых, но ослабленных штаммов вируса A_2. Этим она отличается от вакцин, изготовляемых за рубежом, где применяется мертвый вирус. Оказалось, что советская вакцина эффективнее, и ее стали применять также в других странах. По просьбе французских ученых ее послали и в Париж.



Мгновение — и ампула с гриппозной вакциной готова. Пайщица Клавдия Корыжинская за работой.

Штаммы нового вируса отправлены в Корею, Бельгию, Сирию, Венгрию, Египет. Посланы они и в США доктору Смадэлу, в Лондон — профессору Эндрюсу, в Гамбург — доктору Петте, в Голландию—доктору Ван дер Моллену и многим другим зарубежным ученым.

До конца года будет выпущено около 20 миллионов доз вакцины и около 2 500 тысяч доз лечебной сыворотки. Их стали производить, едва только закончилось изучение свойств азиатского вируса.

Мы в Московском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова. Сейчас тут напряженная пора: надо дать стране как можно больше противогриппозных вакцин и сывороток.

В «бокс заражения» нас не пустили, и снимок пришлось делать через стеклянную перегородку. В боксе сидят вокруг стола четыре лаборантки в белых халатах. Их лица скрыты защитными масками. Лаборантки, как и все работники института, привили себе вакцину. Но все же надо быть осторожным.



В «боксе заражения», куда нас не пустили. Снимок сделан через стеклянную перегородку.

Лаборантки заражают вирусом A_2 куриные эмбрионы—яйца, имеющие девятидневный зародыш. Через «бокс заражения» проходит ежедневно до шести тысяч таких яиц. Вирус развивается на живой ткани эмбриона. Через некоторое время в «боксе отсоса» его, уже ослабленным и безвредным, извлекут вместе с аллантоисной жидкостью куриных эмбрионов. Затем эту жидкость подвергнут еще ряду манипуляций, пока на дне стеклянной ампулы не появится желтоватого цвета порошок с обезвреженным и покорившимся воле человека вирусом.

Последний этап производства— запайка ампул. Девушки, ловко орудуя паяльными лампами, накрепко закупоривают вирус в стеклянный колпак.

Вакцины и сыворотки не залеживаются на складах. Их срочно отправляют на фабрики, заводы, в учреждения, поликлиники — туда, где широким фронтом идет битва с вирусом A_2.

Поликлиника, которую мы посетили, обслуживает рабочий район Москвы и находится на Фабричной улице. Это—отделение городской больницы № 40. Когда в Москве началась пандемия гриппа, в вестибюле поликлиники появилось объявление: «Все больные с температурой и явлениями гриппа в поликлинике приниматься не будут. Вызывайте врача на дом в окнах №№ 3, 6, 7, 8».

Так была устранена опасность превращения поликлиники в очаг распространения гриппа. Но как же обслужить на дому всех заболевших, если число вызовов врачей выросло в десять раз по сравнению с обычным? Поликлиника, как и все лечебные учреждения Москвы, получила существенную помощь. Сюда пришли студенты старших курсов медицинских институтов, врачи из научных учреждений, мобилизованные на борьбу с пандемией. И вместо 24 врачей, которыми располагала поликлиника, их стало 55.

— Мы перестроили нашу работу,— рассказывает главный врач



Автомашины ждут врачей поликлиники, чтобы отвезти их к больным.

больницы № 40 Я. С. Шипатовский.— Врачи приезжали к больному не позже, чем через 3—4 часа после вызова. Работали до позднего вечера, а когда требовалось, то и ночью. Мы подготовились и к приему выздоравливающих. Установили такой порядок: врач, в последний раз посетив больного дома, дает ему талон на прием в поликлинике, точно указывая день и час.

— Были ли случаи, когда грипп протекал в тяжелой форме?

— Только одиночные случаи. В общем же болезнь протекает легко и заканчивается выздоровлением через 3—5 дней. Из битвы с A_2, я бы сказал, мы выходим победителями, однако это не должно демобилизовывать нас.

— Помогла ли вакцина для профилактики гриппа?

— Да, конечно. Но, к сожалению, мы получили ее с некоторым опозданием. Мы провели вакцинацию работников городского транспорта, пищевых предприятий, ряда заводов. Врачи и медицинские сестры работали поистине самоотверженно, не жалея времени и сил.

Мы выходили из поликлиники вместе с группой врачей и студентов. На улице их ждали выстроившиеся в ряд автомашины.

— Едут к больным,— пояснили нам.

— Откуда же столько автомашин?

— Мобилизованы на соседних заводах...

...Теперь наш путь лежит на Подшипниковый завод. Фронт битвы с вирусом A_2 проходит и по его цехам. На заводе создан специальный кабинет по борьбе с гриппом. Его возглавляет научный сотрудник Института вирусологии кандидат медицинских наук Анатолий Николаевич Слепушкин. Он рассказывает нам о том, как сотни активистов общества Красного Креста и Красного Полумесяца следят за проветриванием заводских помещений, за тем, чтобы полы ежедневно мылись раствором хлорной извести, чтобы заболевшие гриппом рабочие были изолированы. В цехах проводится вакцинация. Коллектив заводской поликлиники пополнился врачами и студентами старших курсов.

— Сегодня мы прививаем вакцину с помощью недавно сконструированного аппарата. Нам прислали опытный образец,— говорит нам Слепушкин.

У дверей выстраивается очередь. За стол усаживаются сразу три пациента. Каждый подносит к носу наконечник. Нажимается кнопка, и разведенная вакцина забрызгивается в нос. Вся операция длится мгновение.

— Что ж, теперь я не заболею? — спрашивает кто-то.

— Этого гарантировать нельзя,— улыбается Слепушкин.— Может быть, вирус уже находится в вашем организме. Но и тогда болезнь будет протекать значительно легче и не даст серьезных осложнений. После вакцинации вероятность заболевания значительно уменьшается.

— Ну, тогда давайте и мне,— слышится чей-то веселый голос, и под общий смех к столу подходит молоденькая хрупкая девушка...

На Подшипниковом заводе идет вакцинация. Аспирант Центрального института усовершенствования врачей Э. Перкин, студенты В. Уваров и О. Ткачева.

В пору пандемии тяжело приходится фармацевтам. Круглые сутки с Московского химико-фармацевтического завода № 9 Московского городского совнархоза везут медикаменты во все города страны: поездами, самолетами, почтой и даже нарочными. В заводской экспедиции, где на полках и на полу выстроились штабеля коробок с лекарствами, идет упаковка их в ящики для отправки на вокзалы, аэродромы и в почтовые отделения. Сегодня нарочным отправлены противогриппозные препараты в Минск, Куйбышев, Чкалов. Самолет доставит ящики с террамицином, биомицином, кутизоном в Алма-Ату и Сталинабад, Свердловск и Челябинск.

Едва только в газетах появились сообщения о гриппозных пандемиях разразившихся во Франции и Италии, как работники завода стали поторапливаться с налаживанием промышленного выпуска нового препарата — кутизона. В октябре завод выпустил 800 тысяч упаковок нового препарата, снабдив многие города страны. Увеличилось и производство других противогриппозных средств, причем в ближайшие месяцы выпуск их значительно возрастет. И все же в московских аптеках нет-нет да случались перебои в продаже наиболее необходимых лекарств. Мы в крупнейшей столичной аптеке № 1.



Круглые сутки отправляются медикаменты с химико-фармацевтического завода № 9. На переднем плане—упаковщица А. Спиридонова.



В столичной аптеке № 1. Рядом со старыми фармацевтами приготовлением лекарств заняты и студенты.

— Есть ли биомицин?

— Кончился. Вероятно, завтра будет.

— А сульфадимезин?

— Только что получили. Вчера его не было.

Хотя пандемия гриппа пошла на убыль, аптека все еще работает с большой нагрузкой. И сюда пришло подкрепление — 25 студентов фармацевтического института. Дела после этого пошли веселее. Значительно сократились сроки изготовления лекарств: ни один рецепт не остается на следующий день, а ведь прежде бывало и так.

Инициативные люди и здесь нашли себе применение: многие аптеки открыли ларьки по продаже противогриппозных средств в домоуправлениях и поликлиниках.

...Вирус A_2 встретил в нашей стране организованное сопротивление. В битву с ним вступила многотысячная армия ученых, врачей, фармацевтов, лаборантов, медицинских сестер, рабочих, студентов, активистов Красного Креста, санитарных комиссий на предприятиях и в домоуправлениях — большая армия людей, вооруженных последними достижениями советской науки.

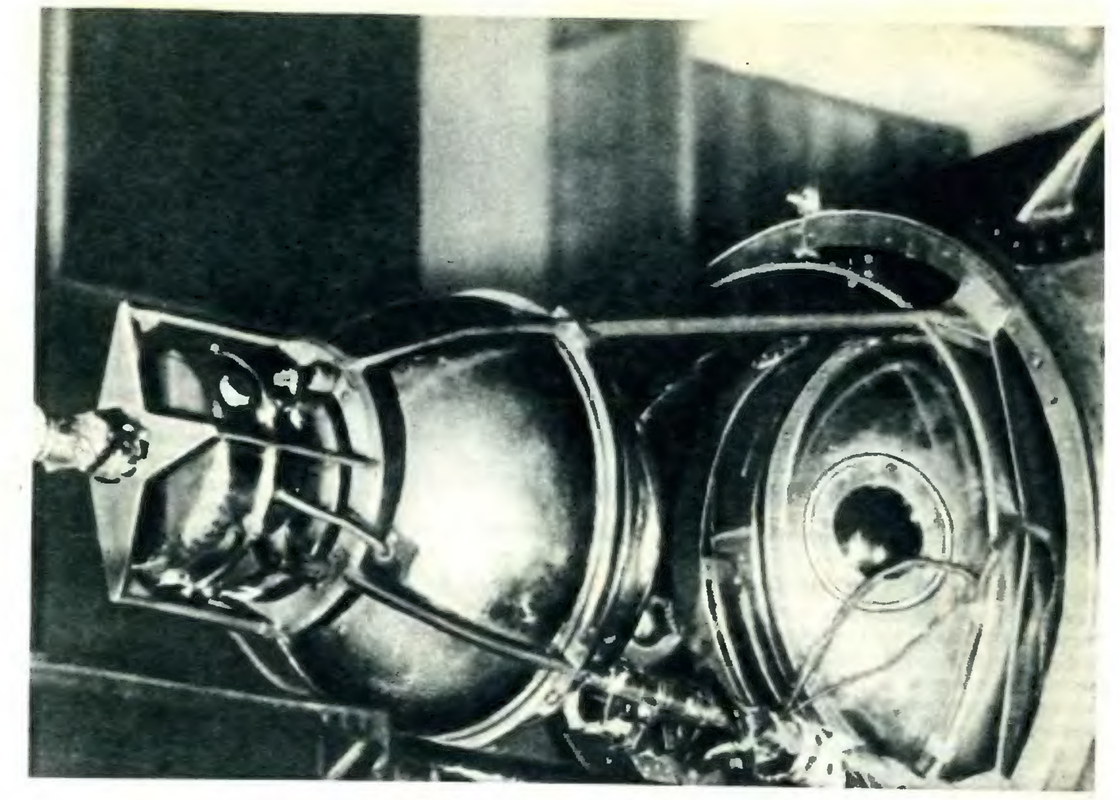
— Ваше лекарство готово.



РАЗВЕДЧИКИ КОСМОСА

С 3 ноября точно по предназначенному пути во Вселенной совершает свой стремительный полет вторая искусственно рожденная Луна. Четко и безукоризненно, по заранее разработанной программе, действовали положенное им время многочисленные аппараты второго спутника Земли.

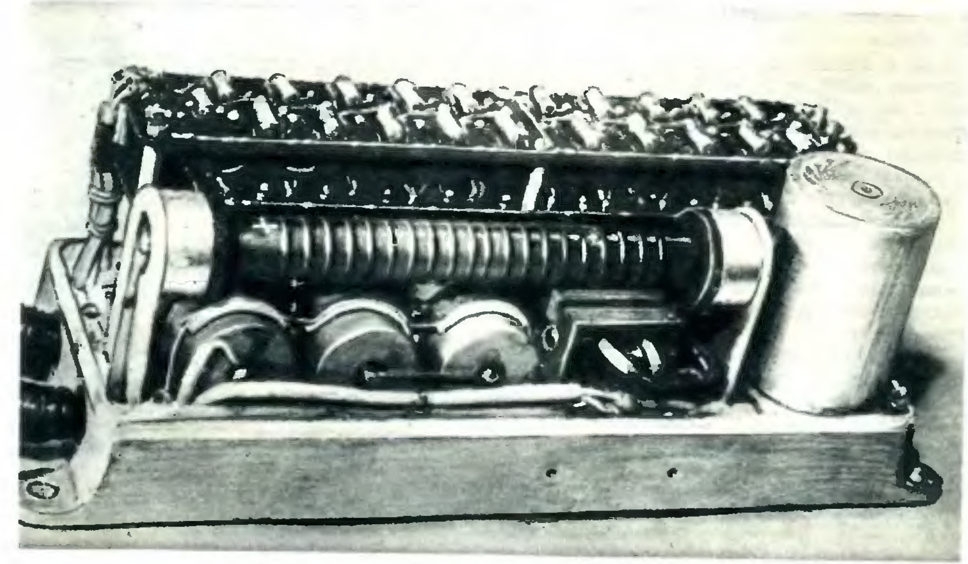
В передней, носовой части спутника размещены приборы для исследования коротковолнового излучения Солнца. Три специальных фотоэлектронных умножителя, расположенных под углом 120 градусов друг к другу, принимали излучения и преобразовывали их в электрические сигналы.



Установка контейнеров с научной аппаратурой на спутнике.



Аппаратура для исследования излучения Солнца.



Аппаратура для изучения космических лучей.



Лайка в герметической кабине перед установкой на спутник.



Вслед за приемниками излучения расположился сферический контейнер. В нем — радиопередатчики, источники их электропитания, система терморегулирования и чувствительные элементы, регистрирующие изменение температуры и давления.

Сзади в ракете находится другой, цилиндрической формы контейнер. В его герметическую кабину была помещена собака Лайка, запас пищи для нее и миниатюрные, экономные в расходовании электроэнергии приборы.

На корпусе самой ракеты была расположена аппаратура для изучения космических лучей. Счетчики непрерывно фиксировали количество заряженных частиц, проходящих сквозь них. Предварительная обработка данных позволила установить зависимость числа частиц космического излучения от геомагнитной широты.

Через семь суток с момента запуска второго спутника радиопередатчики и приборы, как и предполагалось, прекратили свою работу. Данные, принятые радиостанциями Земли и изученные физиками, геофизиками, биологами, астрофизиками, дадут драгоценный материал для науки.

Вторая Луна продолжает полет. По предположениям ученых, она «проживет» гораздо больше своей предшественницы.



Артур Хафкин. Великобритания. КУ-КЛУКС-КЛАН.

КАРТИНЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА VI ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В МОСКВЕ



Теодорос Маркелос. Греция. СТАРУХА-ЦЫГАНКА.

Жан Арсен Бинон. Бельгия. ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ.



ДОЛГИЕ ГОДЫ

Рассказ

Борис ЗУБАВИН

Рисунки Ю. РЕБРОВА.

Еще утром Василиса Петровна почувствовала себя слабой и разбитой. Ноги сделались будто чужие, в ушах стоял тупой шум, ломило виски, затылок и неудержимо тянуло полежать, отдохнуть. Но она весь день ходила, пошатываясь, маленькая, сухая, сутулая, приготовила обед, перемыла всю посуду, вытерла пыль с подоконников, этажерки, буфета, полила цветы и все ворчала, подбадривая себя: «Ну-ка, ну-ка, старая кочерыжка, придет срок, належишься».

К вечеру ей стало хуже, но она еще выстирала Ленины рубашки, развесила их во дворе и уж только после этого, чувствуя, что нет больше у нее никаких сил, прилегла. Сделалось вроде бы легче.

В комнате был полумрак, за окном, гоняя по двору мяч, отчаянно, будто случилось невесть что, кричали мальчишки, и Василиса Петровна беспокойно подумала: «Как бы они на рубашки мячом своим печатей не налепили. Надо бы сходить снять, дома досохнут»,— но не только подняться, даже пошевельнуться уже не хватило ни сил, ни желания. «Помирать, видно, пора»,— добродушно подумала она, и стало жалко Леню: как это он один останется, кто присмотрит за ним? Говорила ведь: женись, пока мать жива, сколько раз говорила, а он лишь засмеется, тряхнет кудрями: «Мне и так пока хорошо, мама»,— а самому двадцать третий год пошел. И хоть бы на братьев да на сестер посмотрел, с них взял пример. Николай двадцати лет женился, сам теперь скоро сыновей женить станет. Ольга тоже. Две дочки через год — через два школу заканчивают. Хорошая семья у Ольги. И муж хороший, сталевар Василий Живков. Или Сашу взять. Впрочем, нет, с этого пример брать опасно: второй раз женился, и вообще живет шумно, и будто, чтобы позлить или обидеть людей, любит делать не так, как все, а наоборот, по-своему. А вот Аленка, эта молодец. Полюбила раз — и все тут. Три года с войны от жениха никакой весточки не получала. Придет, бывало, домой, заплачет, а сама: «Не верю я, мама, что он погиб, вернется он, сердцем чувствую, вернется». «Ну и хорошо,— скажет мать,— и верь и чувствуй, если так. Сердце, оно не обманет». И гляди — вернулся! Где только не был, бедовая голова! Из плена, из концлагеря бежал, в итальянских партизанах с фашистами сражался. А Илья не вернулся. Перед самым концом войны, как написано в похоронной, которую прислали из военкомата, «погиб смертью храбрых в боях за город Будапешт».

Портрет Ильи, майора-летчика с Золотой Звездой Героя и тремя орденами Ленина на груди, висел над диваном, на котором сейчас лежала усталая, непривычно тихая Василиса Петровна.

Вспомнив Илью, она стала думать, какие хорошие дети выросли у нее, все коммунисты; даже Леня, несмотря, что еще молодой, и тот принят в партию. А как им не быть коммунистами? Если бы не Советская власть, не партия, которые помогли ей воспитать, обучить, вывести ребят в люди, даже незнамо, кем они и были бы. А Ильюша вот стал кадровым командиром — Герой Советского Союза; Ольга — крановщица, член заводского парткома; Саша — директор завода на Волге; Николай — инженер, со всей семьей уехал на целину, хлеб государству выращивать, теперь на Алтае живет, механиком МТС работает; Аленушка студентам в институте преподает — вон куда махнула! — а Леня, художник, такой портрет с матери нарисовал, что на Кузнецком мосту выставляли, будто она знаменитый человек.

А чем она знаменита? Ничем. Самая обыкновенная, безвестная, каких в стране сотни тысяч, а может, даже миллионы. Другие, вроде Ольги, на работе прославились или артистками в Большом театре стали, или, как Аленушка, учеными, а она за семьдесят-то лет чего такого выдающегося сделала? Ничего, хоть и прожила вон как долго. Ладно, хоть ребята постараются сделать, оправдаются за нее перед партией, у которой она так и останется, видно, в неоплатном долгу.

В комнате уже совсем смерклось, когда в наружной двери завозились ключом, щелкнул замок и вошел, посвистывая, Леня, высокий, стройный, молодой. Леня включил было электричество, но, увидев мать лежащей на диване, перестал свистеть и торопливо погасил свет.

Василиса Петровна, собрав остатки сил, приподнялась на локте, чтобы встать и разогреть ему обед, но Леня замахал на нее руками:

— Лежи, лежи, отдыхай, я сам все сделаю,— и пошел на цыпочках в кухню.

Она снова в изнеможении опустила голову на подушку, тихо, виновато проговорив:

— Ты уж не обессудь, ноги что-то не ходят.— Но Леня, загремев в кухне кастрюлями, не услышал ее слов или не придал им особого значения.

А Василиса Петровна тем временем продолжала размышлять над своей и детей своих жизнью. И жизнь эта, не очень богатая событиями, когда трудная, когда веселая, проходила перед ней складною чередой, без путаницы, во всей своей неповторимой простоте, будто она читала про эту жизнь в книжке, так что даже было удивительно.

Вот представилась ей морозная октябрьская ночь в Москве, баррикады на улицах, тревожные окрики патрулей в холодной тьме переулков, рабочие-дружинники с Рогожской, поспевающие скорым шагом к Кремлю, а среди них, с винтовкой на плече, с лимонками на поясе, ее муж Иван Иваныч, модельщик с Гужона, серьезный, решительный, и она — в ногу с ним. Как давно это было и как все памятно! Сорок лет прошло уж, как шагала она к Кремлю в рядах дружинников, с санитарной сумкой, больно хлопающей по боку, а потом перевязывала дрожащими с непривычки да от поспешности пальцами раны товарищей.

А в восемнадцатом году их с Иваном Иванычем записали в продотряд, и они поехали в теплушках за хлебом для голодной Москвы. Там, в Донских степях, в перестрелке с белыми, сложил свою голову ее строгий, рассудительный Иван Иваныч, с которым, думалось, не расстанутся они весь век. И это тоже было давным-давно, как вернулась она домой одна,— тоже почти сорок лет назад.

А года два спустя после возвращения (Василиса Петровна тогда работала в фасонке, набивала землей опоки) шла она как-то зимним вечером домой с жаркого партийного собрания и встретила двух детишек: мальчика и девочку. Худенькие, испуганные, озябшие, брели они, взявшись за руки, по пустынной улице.

— Куда вы, милые? — удивилась она.— Замерзнете.

— Мы к тете идем,— сказал мальчик.

— Вот мамка задаст вам! — сердито припугнула она.— В такой мороз по гостям ходить вздумали.

Ей самой было зябко. Как все делегатки, она носила мужские ботинки, кожаную тужурку и красную ситцевую косынку. А эта бойкая одежонка грела плохо.

Мальчик внимательно, кротко и в то же время с каким-то грустным осуждением посмотрел на нее.

— У нас нету мамы,— сказал он.— Она вчера умерла в больнице.— Он помолчал и, еще печальнее глядя на Василису Петровну, добавил: — И папы нет. Его белые на фронте убили.

— Батюшки! — ужаснулась она.— Да что же это такое! Как тебя звать-то? — Растерявшись, она даже не нашлась сразу, о чем спросить мальчика.

— Саша,— равнодушно сказал он.

— А тебя? — Василиса Петровна присела на корточки перед девочкой. Та заморгала часто-

часто, нагнула голову и заплакала тоненьким, слабым голоском, словно комар: — И-и-и-и...

— Ольгунькой ее зовут,— тяжело вздохнув, сказал Саша.

На Ольгунькиной голове неумело, кое-как был намотан большой, сильно изношенный, оставшийся, видать, после матери, шерстяной платок, а из коротких рукавов залатанного пальтишка далеко высовывались голые, покрасневшие от холода ручонки.

У Василисы Петровны дрогнуло сердце. Она распахнула свою тужурку, подхватила Ольгуньку на руки, прижала к себе, чтобы хоть немного согреть ее, и дальше узнала от Саши толком лишь одно: ребятишки заблудились, так что уже не помнили ни того, где живет их тетя, ни того, с какой улицы они сами пришли.

— Бедные вы мои! Что же мне делать с вами? — проговорила она, оглядываясь в полном замешательстве.

Но на улице, заваленной сугробами, было пусто. В студеном зеленоватом небе скупо догорала желтая зимняя заря, кричали голодные галки, густо вихрясь вокруг церковного купола: наверно, никак не могли согреться.

— Ну-ка,— решительно сказала Василиса Петровна, обращаясь к Саше,— поспевай за мной!

Четверть часа спустя ребятишки уже сидели в ее комнате возле жарко накалившейся «буржуйки» и, старательно облизывая ложки, боясь уронить с них хоть крупинку, бережно и в то же время жадно ели горячую ячневую кашу, скромно сдобренную подсолнечным маслом.

Соседи пытались было советовать, учили, чтобы Василиса Петровна отдала ребятишек в приют, потому что сама еще молодая, выйдет замуж, своих детей народит, а так, с ребятами, кто ее возьмет?

Но она только хмурилась в ответ на эти бесполезные советы. Замуж Василиса Петровна не собиралась: не из тех она была, чтобы так легко забыть мужа, выбросить любовь к нему из сердца своего, да и Ольгунька уже стала звать ее мамой. Могла ли она хотя бы после этого в приют ее отдать?

Жить с ребятами стало беспокойнее, но теплей, уютней, отрадней. После гудка Василиса Петровна забежит на часок — другой в завком, в ячейку, к женоргу — и скорее домой. Постучится в дверь и спросит:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

А за дверью сейчас же раздаются два веселых ребячьих голоса:

— Мама Василиса да Оля с Сашей.

Скоро в этом небогатом тереме появились и еще два жителя: Колька с Ильюшей.

Однажды теплым весенним днем Василиса Петровна нечаянно явилась свидетельницей отвратительной, ужасной сцены: остервенелые беспризорники толпой, жестоко, нещадно били такого же, как и они, оборванного мальчика, молча лежащего, охватив руками голову, на булыжниках мостовой.

— Да вы что, стервецы, делаете! — закричала она в гневе.— Стыда на вас нет!

Она разогнала толпу, подняла судорожно всхлипывающего, с разбитой губой, с фиолетовым отеком возле глаза, мальчика и увела его с собой.

А сзади, как ей показалось, подосланный беспризорниками, крался за ними другой парнишка.

— Да ты что, мазурик, шпионишь за мной! — рассердилась она.— Вот надеру тебе уши!

Мальчуган лишь настороженно смотрел на нее издалека большими красивыми глазами и не отставал до самого дома, хотя она еще не раз обещала расправиться с ним.

— Они меня, если попадусь, все равно убьют,— перестав всхлипывать и размазав по грязным щекам слезы, просто, как-то очень обыденно сказал тот, которого она привела с собой. Это был Колька.

И опять, как тогда зимой, дрогнуло доброе сердце Василисы Петровны.

— Не бойся, не убьют,— грозно сказала она.— За что они тебя?

— За пятак. Я нашел пятак и не отдал.— Он говорил пришепетывая, так, будто сосал леденец, и произносил: «Жа пятак».

Василиса Петровна подстригла его ножницами, тупыми, какие нашлись, так что Колькина голова стала похожа на вспаханное поле, после чего, вымыв мальчика в корыте, переодела в чистые, хотя и поношенные рубашку и штаны, тотчас выменяв их у соседки на шаль, которой когда-то покрывалась по воскресеньям, выходя гулять с Иваном Иванычем.



У Кольки была веселая, лукавая физиономия, и даже синяк под глазом не портил ее милого очарования. Убедившись в том, что он остается жить у Василисы Петровны, Колька вытащил изо рта пятикопеечную монету и, уже не пришепетывая, очень чистым языком, деловито, с достоинством произнес:

— На, возьми. Мне он не нужен теперь, пятак этот.

— Ну что же, давай,— согласилась Василиса Петровна, принимая от него монету,— если вправду нашел. Нам в хозяйстве сгодится. Так, стало быть, родных у тебя никого не осталось?

— Никого,— охотно отозвался Колька.— Все от тифу, как мухи, померли. Один братишка еще остался, Илья.

— Где же он?

Колька небрежно мотнул головой:

— А вон на улице стоит. Второй день.

Василиса Петровна поглядела в окно, и ей стало до того стыдно, что она не знала, куда девать свое покрасневшее лицо. На той стороне улицы стоял и с тоской, со слезами на глазах смотрел в сторону ее дома тот самый большеглазый парнишка, который преследовал их вчера всю дорогу и которому она грозилась надрать уши, чтобы не шпионил.

— Ну-ка, давай его сюда! — решительно сказала она.— Давай.

А пять лет спустя Василиса Петровна принесла на руках четырехлетнюю Аленку, мать которой, товарку Василисы Петровны по заводу, насмерть сшибло трамваем. К тому времени все мальчики уже ходили в школу, одна Ольгунька еще сидела дома.

Как-то в канун всенародного праздника Великого Октября, не то в седьмую, не то в девятую годовщину, Василису Петровну вызвали в завком.

— Ну-ка, Василиса,— запросто, грубовато, как это и принято было меж ними, потребовал от нее председатель, литейщик, приятель Ивана Иваныча, вместе с ними ходивший выбивать из Кремля юнкеров, ездивший с продотрядом за хлебом,— расскажи, как ты живешь, детей растишь?

— Ничего, Петрович, живу,— смутившись, сказала она.

— Трудности бывают, преодолеваешь?

— Преодолеваю, ничего.

— Так вот. От имени нашей партийной ячейки и нашего заводского профсоюзного комитета решено оказать тебе помощь, поскольку дело воспитания — наше всеобщее дело.— При этих словах Петрович, насколько хватало рук, сделал большую окружность, а подумав, добавил: — И так далее.

И принесла она в тот день такие подарки ребятишкам, что, пока шла до дома, слезы сами катились из глаз: всем по новым ботинкам, девочкам — нарядные платья, мальчикам — вельветовые костюмчики. Оделись в них ребята на праздник, и стало совсем их не узнать, до чего похорошели.

Так с того раза и пошло: в каждую годовщину от заводского комитета и партячейки подарки ребятам, пока не подросли, не встали на ноги.

Сперва Николай, потом Илья с Сашей окончили школу, начали работать на заводе учениками, подручными, потом на самостоятельную работу перешли, а там, глядь, Илья уже уехал в военное училище по комсомольскому набору, а Николай с Сашей — в вузе на красных инженеров учатся.

Хорошие выросли ребята, хотя и разные все. Николай так и остался веселым хитрецом, подвижным, очень чувствительным; Илья был строг, спокоен, рассудителен, а Саша из тихого, застенчивого мальчика вырос таким своенравным и резким, что все время беспокоил Василису Петровну, так как по характеру оказался сильнее всех других ребят и даже Николая, который был старше его на четыре года, сумел подчинить себе. Ольга тоже вышла крута нравом, но у нее это выражалось не так сильно, как у Саши.

Когда началась война, Николай с Сашей, уезжая на фронт, пришли проститься. Илья вступил в бой в самый первый час.

— Идите, ребята,— сказала Василиса Петровна,— и победите. Это мой вам материнский и партийный наказ.

— Твой наказ будет выполнен, мама,— встав перед ней по команде смирно и взяв руку под козырек, весело и трогательно, со слезами на глазах ответил Николай, а Саша спокойно сказал:

— Ну, об этом ты могла бы и не говорить. Сами знаем.— У него была такая привычка — подчеркивать, что он все давно знает сам.

Николай после этих слов виновато улыбнулся матери, как бы извиняясь за бестактность брата. Но она сделала вид, что ничего не заметила: не тот был час, чтобы прикрикнуть, как бывало, на Сашу.

Ах, Саша, Саша! Он и теперь, уже с седыми висками, продолжал тревожить мать своим поведением: взял да и женился недавно второй раз, бросив первую жену с ребенком. Василиса Петровна послала ему два больших сердитых письма, но они нисколько не образумили его.

За всех она была спокойна, только Саша со своим трудным характером да Леня, самый младший, все заставляли думать, волноваться.

Леня появился в ее доме осенью 1941 года. Она нашла его на вокзале. Родители Лени погибли в Калинине при бомбежке, а сам он отстал от эвакопоезда.

Не думалось ей тогда, что не успеет она, как других ребят, поставить Леню на ноги. «Как он теперь один останется? Рубашки вот надо бы снять»,— опять, с обычной своей заботой, подумала она.

Скрипнула дверь, вошел Леня и так осторожно и тихо нагнулся над ней, что она почувствовала это лишь по его близкому дыханию и открыла глаза.

— Что ты?

— Не заболела ли ты, мама? — спросил он.

— Худо мне,— призналась она, вновь смежив веки.— Помру, видно, Леня.

— Ну что ты говоришь такое! — с тревогой и досадой воскликнул он.

— Я вот про тебя, как ты один останешься.

— Сейчас я неотложку вызову,— нахмурился Леня, не на шутку уже встревоженный.

— Не надо, милый.— И она слабым, вялым движением сухой морщинистой руки дотронулась до его плеча.— Лучше Ольгу позови.

Леня схватил плащ, шляпу и выбежал из дома, одеваясь на ходу.

Живковы жили на соседней улице. Леня ворвался к ним в квартиру, крикнул отворившей ему высокой полногрудой женщине, у которой все было строгое — и гладкая, на пробор, русская прическа, и выражение карих глаз, и манера держать себя (это и была Ольга Ивановна):

— Маме плохо! — и опрометью кинулся обратно.

Ольга Ивановна с мужем прибежали следом за ним.

— Что с тобою, мама? — крикнула она, лишь появившись в комнате.

— Плохо, Ольгунька, помру, видно,— тихо отозвалась Василиса Петровна.— Ты за Леней присмотри, не бросай его. Рубашки там...

— Леня! — решительно распорядилась Ольга Ивановна, привыкшая к тому, что ее беспрекословно все слушаются.— Вызови неотложку.

И Леня метнулся на улицу.

Однако все уже было напрасно, и пять минут спустя Василисы Петровны уже не стало в живых.

Маленькая усталая старушка с простым, морщинистым, добрым лицом и тем живым, еще не успевшим отойти от нее выражением всепрощающей и всеобъемлющей любви и нежности к людям, какое встретишь у сотен тысяч, а может, у миллионов наших русских старух, словно заснув, лежала на диване, а со стены, с портрета в черной рамке, внимательно, чуть грустно, смотрел на нее большеглазый майор с Золотой Звездой Героя и тремя орденами Ленина на груди.

Василий Живков и Ольга Ивановна, понурив головы, стояли подле дивана и не оглянулись, когда вбежал с чемоданчиком в руке врач.

— Поздно,— сердито сказала Ольга Ивановна, глотая слезы.— Нет уж больше нашей матери.

Хлопоты по похоронам Василисы Петровны взял на себя Василий Живков, человек толковый, расторопный, деятельный, безумно влюбленный в свою красивую строгую жену, любое слово которой — это всем было известно — выполнял в одну секунду.

Он все сделал быстро и аккуратно и так точно, будто только и занимался тем, что хоронил людей: выправил необходимые документы, известил Алену Ивановну, послал телеграммы Николаю Ивановичу и Александру Ивановичу, заказал гроб, автобус, оркестр, могилу на кладбище, и уже день спустя останки Василисы Петровны повезли хоронить.

Утром, чуть свет, прилетел на самолете Николай Иванович с женой и тремя сыновьями-трактористами — здоровыми, как и отец, обветренными парнями. На глазах у Николая Ивановича блестели слезы.

Не было только Александра Ивановича, которому и ехать-то до Москвы меньше трехсот километров.

На улице было по-сентябрьски тихо, солнечно, но не жарко, и когда выносили из дома гроб и ставили его в автобус, во дворе провожать Василису Петровну собралась большая притихшая толпа, а в углу двора, возле дровяных сараев, все еще висели на веревке выстиранные морщинистыми, весь век не знавшими устали руками Василисы Петровны Ленины рубашки.

«Почему нет Александра?» — думали и Николай, и Ольга, и Алена, и Леня, и всем им было неловко и стыдно перед посторонними людьми, что он не приехал проститься с матерью.

А Александр Иванович, получив телеграмму, сперва не придал ей никакого значения, так как в ней было написано следующее: «Умерла Петровна. Похороны завтра час дня на Калитниковском кладбище. Жуков».

«Чепуха какая-то, — подумал он, прочтя текст телеграммы,— я не знаю никакой Петровны, у меня нет в Москве никакого Жукова. Это, вероятно, не мне».

Весь день он был занят заводскими делами, вечером заседал на бюро райкома, поругался там со вторым секретарем, назвавшим его бюрократом, домой вернулся поздно, сразу лег спать и лишь на другое утро, проснувшись, вспомнил эту странную телеграмму.

«Что за чепуха? — думал он, в благодушном настроении принимая ванну, бреясь, надевая свежую, пахнущую крахмалом и утюгом белоснежную сорочку.— Какой-то Жуков, Петровна... Кто такие?»

«Кто такие? — продолжал он думать, сидя за завтраком, и уже с некоторым раздражением, так как мысль о телеграмме, неотвязная, как зубная боль, все сильнее беспокоила его.— Петровна, Петровна...— И вдруг, побледнев, вскочил из-за стола, чуть не опрокинув недопитый стакан чая.— Да ведь это моя мать — Петровна! А Жуков — это Живков! Это телеграф перепутал! Как же я сразу не догадался?! Дурак, болван,— уже ругал он Живкова, так неуклюже составившего телеграмму.— Теленок, бабий приказчик!»

Еще было время — четыре часа с лишним. Он еще мог успеть проститься с матерью. Но самолет на Москву улетал только вечером, поезд отправлялся в двенадцать часов дня. Все это не годилось, и можно было успеть только на автомобиле.

Он позвонил главному инженеру, парторгу, главному диспетчеру и всем сказал своим командирским голосом:

— Уезжаю в Москву.

Так же, без лишних объяснений, он сказал и своей жене, молодой, изящной женщине, которую, ни разу не увидев ее, так невзлюбила его мать, а садясь в машину, бросил шоферу:

— Сейчас полчаса девятого. Через четыре часа мы должны быть в Москве.

— Постараюсь, Александр Иваныч,— ответил тот.

— Не постараюсь,— нахмурился Александр Иванович,— а хоть кровь из носа.

Но, выезжая из города, задержались на переезде. Старый маневровый паровоз, лениво пыхтя, толкал вагоны, перегородил ими шоссе, остановился и стоял, казалось, вечность, пока не потянул их, все усиливая ход, к железнодорожным пакгаузам.

Потом пришлось свернуть с главной магистрали и сделать большой крюк по разбитой проселочной дороге, объезжая ремонтировавшийся мост. И все это было словно нарочно и так некстати!

Александр Иванович, стиснув зубы, нахмурясь, сидел рядом с шофером, и вспомнилась ему вся его жизнь с того самого момента, когда холодным зимним вечером Василиса Петровна подобрала их с Ольгунькой на улице. Как много лет прошло с тех пор! И как много огорчений и обид принес он за эти долгие годы матери!

И потому, что он впервые подумал о себе так, ему стало невыносимо жаль, что уже ничего нельзя поправить, изменить, что теперь уже все поздно.

К Москве подъехали все-таки в половине первого. Но надо было еще долго кружить по городу, по его улицам, то широким, то, как рукав, узким, но всюду шумным, беспокойным, сутолочным, полным пешеходов, автомобилей, троллейбусов, автобусов, грузовиков; простаивать чуть не на каждом перекрестке возле светофоров. Александр Иванович приказал ехать прямо на кладбище.

А похоронная процессия тем временем двигалась по Москве, миновала Сыромятники, Землянку, поднялась в гору на тесную, беспорядочную Таганскую площадь и, обогнув ее, устремилась по прямой улице к Абельмановской заставе. Но вот и застава была позади. Несколько минут езды по тряской булыжной дороге мимо старых деревянных домиков, и уже показались высокие деревья за кладбищенской оградой.

Никто не обратил внимания на стоявшую возле ворот запыленную машину, и лишь когда, суетясь и толкаясь, к гробу кинулись с венками и огромными букетами живых цветов, сперва Ольга, а за ней Живков, Николай, Леня и ребята-трактористы, несшие гроб, увидели стоявшего в стороне бледного, нахмуренного, со стиснутыми губами Александра Ивановича.

Он стоял, по-военному вытянув руки по швам, своевольный, решительный человек, и когда раздались печальные звуки оркестра, скупые, редкие слезы побежали по его щекам.

Два стихотворения

Александр КОВАЛЕНКОВ

Поклон предку

...Грамота ему в наук пошла
(Былина «Василий Буслаев»)

Буйство, озорство твое охаяв,
Хоть и был к наукам ты горазд,
О тебе, Василий свет Буслаев,
Педагоги спорили не раз.
На задворки гнали с красной горки,
Неслуха за удаль невзлюбя,
Так, что Алексей Максимыч Горький
Должен был вступиться за тебя.
Он-то знал, что сокол трясогузке
Никогда ни в чем не уступал.
Он-то знал, каков характер русский,
И Валерий Чкалов это знал.
«Благостный», «податливый», «сермяжный»,—
В каждом слове — ложь невпроворот!
Радостный, догадливый, отважный
Породил Буслаева народ.
Если б у тебя добра просили,
Уважая честь твою и стать,
Ты бы, не жалея сил, Василий,
Стал своим соседям помогать.
Ну, а если нож сулили в спину,
Норовя ожечь из-за угла,
Тут Василий брал свою дубину,
А она увесистой была...

Не о том, конечно, речь ведется,
Что без драки дня не проживешь,
Но нельзя не вспомнить новгородца,
Не сказать, что парень был хорош.

Меценат

Стал щедрым старик напоследок,
К новинкам почувствовал вкус.
Шумят у него на обедах
Служители модных искусств.
Заумного жанра полотна
Несут меценату на суд.
И он покупает охотно
Плоды шарлатанских причуд.
Дымком ядовитой сигары
Шикарный наполнив салон,
Воров и убийц мемуары
Читает на отдыхе он.
Пригубив бокал кока-кола,
Глядит хлебосольный богач,
Как лихо под взвизг рокк-н-ролла
Танцоры идут окарачь.
Чем хлеще и злей клоунада
И стиль выкрутаса пошлей,
Тем слаще душе мецената
И сердцу его веселей.
Он хочет при помощи грима
Такие обтяпать дела,
Чтоб гибель твоя, Хиросима,
К ним только вступленьем была.

СКАЗ О НОРВЕЖСКОЙ СЕЛЬДИ

Кьелль ВАЛЬДЕРХАУГ,
норвежский писатель



Порт Олесунд. Суда стоят так тесно друг к другу, что можно пройти, не замочив ног, от причала к причалу.



Рыболовное судно с кошельковым неводом выловило за один раз около 3 тысяч гектолитров сельди, и рыбаки стараются спасти улов.



Молодые олесундцы делят свой первый улов. В это время в Олесунде все обязательно едят жареную сельдь. «Национальным блюдом» в Вестланне является сельдь вяленая.

На складе сельдяной муки, вырабатываемой одной из рыбных фабрик.



В истории ловли норвежской сельди можно отметить три важные даты: 1897 год, 1900-й и 1950-й. В 1897-м три рыболовные шхуны из Олесунда показали всем, что ловить сельдь поплавковым неводом в открытом море не только возможно, но что такая ловля намного превосходит по богатству улова то, что добывают в фиордах. В 1900 году впервые был применен кошельковый невод на ловле крупной и весенней норвежской сельди[1]. Этот способ оправдал себя и в последующие годы. В 1950 году норвежские исследователи морей во главе с директором Гуннаром Роллефсеном и консультантом Финном Девольдом смогли доказать гипотезу профессора Георга Оссиана Сара, выдвинутую им еще в 1873 году, что фактически «домом» норвежской весенней сельди является морская область, лежащая между Норвегией, Шотландией и Исландией.

Сочетание практической сметки и смелости рыбаков с систематическими исследованиями ученых дало блестящие результаты: только в прошлом году на ловле крупной и весенней сельди у норвежского западного побережья от Кристиансунда до Ставангера было добыто 12,6 миллиона гектолитров. Этого количества хватило бы, чтобы подать селедку за обедом всему населению земного шара.

...Норвегия — нация рыбаков и мореходов. Со всех сторон она омывается морем, береговая линия ее общей протяженностью в 3 400 километров. Свыше десятой части населения кормится рыболовством и мореходством.

К берегам Норвегии приходит бесчисленное множество рыбы метать икру на банках или питаться планктоном, который особенно богат весной и осенью в прибрежных водах. Центрами самого богатого лова сельди являются города Олесунд, Молэй и Флорэ, а рыболовецкий флот действует в море по обе стороны западного мыса Стад.

В декабре сельдь собирается громадными косяками к северу от Фарерских островов и лозится в этот период на холодной стороне той линии, которая отделяет арктические воды от вод Атлантического океана. Сельдь движется по восточноисландскому арктическому течению примерно в 100 морских милях от норвежского побережья, против провинций Мэре и Ромсдаль. Здесь косяки останавливаются на неделю, вероятно, для того, чтобы привыкнуть к температуре атлантических вод, потом «прорывают фронт», направляясь к берегу. Косяки движутся со скоростью от 25 до 40 морских миль в сутки, держась сначала вместе. Но в норвежских прибрежных водах косяки расходятся в разные стороны. Ночью рыбаки по эхолоту регистрируют «вуаль» из сельди на больших площадях. Утром косяки сходятся, а в сумерках снова расходятся.

Все эти сведения о странствовании сельди добыты норвежскими исследователями моря. Они подтверждены опытом норвежских и русских судов, работающих на лове в районе Фарерские острова — Исландия — Норвегия.

* * *

Эти, быть может, несколько сухие данные о ловле зимней сельди вдоль западного побережья Норвегии, конечно, далеко не все, что составляет наш сказ, который можно было бы озаглавить «Серебряные копи моря».

За свою долю в богатых сокровищах моря борются 25 тысяч рыбаков. Но во много раз больше число людей, которые ежегодно с волнением ждут результатов лова, — ведь вся экономика побережья во многом зависит от этого! Среди этих людей не только семьи рыбаков, но и многочисленные рабочие рыбных заводов. Вдоль всего побережья расположилось 60—70 крупных предприятий. Они перерабатывают 70—80 процентов улова и экспортируют его в виде рафинированных масел и сельдяной муки. Несколько сот фабрик ждут сельди для засолки и отправки на иностранные рынки. Ежегодно солят до 700 тысяч гектолитров. Советский Союз уже давно является крупным рынком для норвежской сельди, а после войны стал основным ее покупателем: за последние годы экспорт в СССР составлял 400—500 тысяч бочек.

Множество холодильников, оборудованных по последнему слову техники, замораживают сельдь для экспорта в другие страны, главным образом в Великобританию и Германию. Эта сельдь в большей своей части коптится непосредственно в странах-потребителях.

Весь сбыт сельди идет через кооперативную организацию рыбаков «Норегс сильдесальслаг» («Норвежская организация по продаже сельди»), она основана 30 лет назад. Сельдь сбывается ежегодно по гарантированным ценам. Кооперативы рыбаков имеют в своем распоряжении также несколько крупных, по-современному оборудованных заводов.

Рыбакам обеспечен прием улова, когда суда прибывают в гавань. Другое дело — обеспечить сам улов. Погода, различные биологические и океанографические причины, влияющие на размер сельдяных косяков, на выбор мест для метания,— все это влияет на ход и исход лова. Какие-нибудь несколько дней со штормами и снежным туманом могут причинить большие потери.

* * *

Вот приближается время лова. Когда даст о себе знать сельдь? Какова будет погода? Все охвачены волнением ожидания. На берегу это называют «сельдяной лихорадкой». Так бывает особенно к рождеству, когда морские суда отправляются на разведку косяков. Нащупали ли суда сегодня что-либо? Каким курсом идут косяки? Когда можно их ждать у берега? Это волнует и молодых и старых, рыбаков и рабочих по разведке сельди, предпринимателей и судовладельцев.

В больших сельдяных гаванях суда стоят наготове уже с нового года. В порту Олесунд вырастает целый лес мачт, там можно, не замочив ног, переходить между причалами с судна на судно.

В эти напряженные дни люди сидят за радиоприемниками и без устали ловят на различных частотах сообщения с моря.

И вот приходит известие, что косяки сельди прорвали «фронт холодной воды» и находятся на пути к берегу. В несколько минут эта новость облетает все порты, все дома. Огромный флот отправляется в море. В кино во время сеансов, в залах ресторанов то и дело передаются по радио вызовы: рыбаки такие-то должны прибыть на свои суда немедленно.

Сельдь идет!

Проходит несколько часов — и в гаванях не остается ни одного судна. Плавучий город отправился на место лова, и несколько недель подряд сети и невода будут забрасываться в «серебряные копи» моря. Сельдь кишмя кишит в глубине, время от времени она выходит на поверхность единой движущейся массой, такой огромной и мощной, что суда буквально поднимаются на миллионах черных сельдяных спин.

Уже в следующую ночь приходят сообщения о первом улове. Суда перекликаются друг с другом по радио, кто-то просит помочь отбуксировать добытую сельдь, кто-то хвалится крупным уловом, несутся жалобы о прорванных неводах невиданным множеством сельди.

...Что поделаешь, сказ о сельди — это сказ не только о морских богатствах. Не всякому рыбаку под силу вовремя поднять на борт из глубины моря живые сельдяные массы. Кое-кто теряет сети. Но самое тяжкое — это гибель людей. Бывают случаи, когда гибнет весь экипаж судна, но бывает и так, что несколько лет подряд рыбацкая Норвегия не переживает подобных трагедий.

Спасательная служба сейчас организована хорошо: метеорологи дают точные сведения о погоде, и семьи рыбаков могут не бояться за ушедших в море. Но все же и теперь несчастья возможны. Так, прошлой зимой 20 человек погибли вместе с судном в штормовую ночь в море у Стада.

...Все норвежские сказы, как правило, оканчиваются так: «Снип, снап, снуре! Вот и сказу конец».

Желание всех норвежцев: чтобы сказ о сельди у нашего побережья никогда не кончался.

[1] «Крупная сельдь» — норвежское название сельди до метания икры; после икрометания она называется «весенняя». (Примеч. автора.)

Японские записи



Над Филиппинскими островами.

Л. КУДРЕВАТЫХ

Фото Н. КОЗЛОВСКОГО.

Специальные корреспонденты «Огонька»

Ночь над Тихим океаном

Существует своеобразная закономерность: первую половину дороги человек мысленно находится еще там, откуда он отправился в путь, а потом, во второй половине пути, он уже поглощен тем, что ожидает его у цели. Так было и на этот раз. До Калькутты мы летели, находясь во власти привычного. В самолет подавали прохладный воздух, и мы чувствовали себя, как в Москве. Но в Калькутте, а потом в Сайгоне и Маниле, как бы предупреждая нас о климате на Японских островах, было знойно и влажно.

Именно знойно и влажно. Спускаясь по трапу на аэродром, пассажир с первой же секунды попадал точно в парную баню. Не к огнедышащим мартенам, а в баню. Ветерок не колышет флаг на крыше аэродрома. С безоблачного неба нещадно палит небесное светило. Немедленно руки и лицо покрываются влагой. На рубашке образуются темные озерца испарины. Брюки липнут к ногам. Следуя за бортпроводницей на короткий отдых в ресторан, вы стараетесь сесть за столик, над которым кружатся длинные лопасти вентилятора. Но и это не помогает. К зною еще можно привыкнуть. Но влага, обнявшая человека, быстро утомляет. И вы с нетерпением ждете, когда вас снова пригласят в самолет,— там безотказно действует воздушное охлаждение.

Впервые я был на Японских островах в начале 1946 года. Зимние месяцы в Токио напоминали нашу весну. Под окнами дома, в котором мы жили, цвела магнолия, не опьяняющая никакими ароматами. Ребятишки на тротуарах бойко торговали безвкусными суховатыми мандаринами по десятку на иену. В конце февраля люди ходили уже без пальто. Климат той поры вполне устраивал нас, северян. А что ждет нас сейчас, в августе 1957 года?

Последний воздушный прыжок из Манилы до Токио самый продолжительный. Восемь часов самолет идет над бездной Тихого океана. Океана, правда, мы не видели: летели ночью. Луна освещала лежавшие под нами причудливые белые нагромождения облаков, напоминавших замки и зверей, горы и бескрайние снежные равнины. Стюардессы, чтобы отвлечь пассажиров от возможных грустных размышлений о пятикилометровой высоте над пятикилометровой глубиной океана, были подчеркнуто приветливы и внимательны. Они то предлагали иллюстрированные газеты и журналы, то подавали легкую закуску, то однажды обнадеживающе сообщили:

— Слева остров Окинава.

Примерно на половине этого воздушного прыжка над океаном стали подавать обильный ужин с бутылочкой французского вина. Мой сосед сказал:

— Ночь. Летим на самолете компании «Эйр-Франс» над Тихим океаном на высоте 5 тысяч метров. Едим жареную рыбу и запиваем бархатистым французским вином. Об ощущениях, которые испытывает человек в эти минуты, не писали ни Бальзак, ни Гюго, ни Золя, ни Флобер...

Предупреждения друзей

По токийскому времени было уже за полночь, когда четырехмоторный самолет, теряя высоту, вышел на Токио. Мрачную черноту бушующего океана обрамляло море огней. Как огромный огненный спрут, город охватывал огнями извилистое побережье. Разноплеменная и разноязыкая семья пассажиров воздушного корабля прильнула к окнам-иллюминаторам, любуясь открывшейся взорам панорамой.

— Сколько огней! — воскликнул кто-то и авторитетно добавил: — Как над Парижем!

— Токио больше Парижа,— вступил в разговор пассажир-японец.— По территории и населению он один из самых больших городов в мире. В Токио живет около восьми миллионов человек.

Одиннадцать с половиной лет назад мы добирались до Токио тоже самолетом, правда, днем. Картина, представшая тогда нашему взору, была совершенно иной. На огромной территории города черными коростами пепелищ лежали руины. Как известно, Япония потерпела в войне поражение. Ее армия была разбита и пленена. Многие города разрушены. Заводы не работали. Флот потоплен. А территория оккупирована американскими войсками. В 1946 году приземлялись на военный аэродром, занятый американцами. Документы наши проверяли американские офицеры.

А сейчас самолет плавно выруливал по аэродрому Ханеда к аэровокзалу, напоминающему огромный, расцвеченный тысячами огней океанский корабль. Пограничные и таможенные формальности быстро и четко выполняют японцы. Через несколько минут мы были уже на площади, забитой автомобилями самых различных расцветок и марок, собранных сюда со всего света. На улицах ночного Токио было светло как днем — неоновые рекламы полыхают над городом и в этот час. Душно и влажно. Зато в номере «Гранд-отеля» работала холодильная установка, и мы со старыми японскими друзьями просидели до рассвета.

— Не поддавайтесь первым, внешним впечатлениям,— говорили они.— Можно ошибиться. Вас поразил аэропорт Ханеда? Такой же, как Орли в Париже? Правильно, не хуже! А чей он? Наш, японский? Нет! Земля-то японская, а почти все оборудование принадлежит иностранным фирмам, преимущественно американским. Вы увидели много автомобилей. А чьи они? Наша автомобильная промышленность не может конкурировать с заокеанской, потому что для импорта американских автомобилей созданы самые благоприятные условия.

Одним словом, японские друзья с присущей им обстоя-

тельностью доказывали, что не все то золото, что блестит. Потом, разъезжая по стране, я не раз убеждался в их правоте.

На улице и дома

По всему миру уже много десятилетий путешествуют открытки с идиллическим японским сюжетом: крошечные домики, обвитые ветвями стелющихся по земле сосен; девушки с ангельскими личиками, одетые в цветастые



На бойком месте.

кимоно, охваченные ярким оби с огромным бантом на спине; синтоистские храмы в тени парков... Конечно, подобное можно встретить в Японии и сейчас. Национальный характер архитектуры, одежды и быта, конечно, сохраняется. Но современное, пробивая себе путь, рушит вековечные льды.

В 1946 году среди пепелищ и развалин в центре Токио высилось несколько десятков многоэтажных домов, построенных из железа и камня. Они поднимались над типичными для Японии маленькими домиками, прильнувшими друг к другу. В свое время говорили, что в Японии нельзя строить многоэтажные каменные здания: часто бывают землетрясения. Сейчас центральный район Токио сплошь застроен песочного цвета громадами банковских контор, гостиниц, универмагов, деловых и жилых домов. И не только в Токио, но и в Нагое и в Осака подобные кварталы не диковинка. Кобе — промышленный город — весь из построек европейского типа — массивных многоэтажных коробок.

Столицу Японии из края в край прорезают широкие проспекты, по которым с грохотом проходят трамваи и с диким ревом клаксонов в три — четыре ряда мчатся автомобили непривычно для нас — не по правой, а по левой стороне.

Там, где в 1946 году были пепелища с конурками из обгорелого железа, заменявшими жилища, сейчас кварталы новых домов, цеха заводов. Район Асакуса, сожженный американскими зажигательными бомбами, ныне бурлит, как улей. Кинотеатры, бары, казино, рестораны, кабаре, сотни магазинов и ларьков привлекают тысячи токийцев. В 1946 году многолюдно было только в торговом районе Токио, на Гинзе. Здесь фланировали толпы мужчин в потрепанной полувоенной форме и женщины, как правило, в ярких кимоно.

Сейчас в самых различных районах города лавины куда-то спешащих токийцев. На них белые рубашки и кофточки, легкие брюки и юбки европейского покроя.

Днем не только мужчину, но и женщину редко увидишь в национальном платье — в кимоно. Как во внешности улиц, так и в одежде многовековой национальный колорит отступает перед новым. Правда, вечером изредка встретишь пожилую пару в кимоно и в деревянных гета, медленно прогуливающихся по тихой узенькой улочке. В эти часы они как бы отдыхают от суеты.

Чем объяснить столь резкую перемену в облике городов и в одежде толпы? С подобным вопросом я обращался ко многим и получал примерно один и тот же ответ:

— Большие дома — это новая строительная техника и экономия пространства. А одежда? Европейский костюм, во-первых, удобнее для работы, во-вторых, он дешевле. Кимоно, особенно оби, делались, как правило, вручную и из дорогих материалов. Это не каждому по средствам. Многие обходились одним — двумя кимоно за всю свою жизнь. А рубашка — она и дешевле, и стирать ее можно каждый день.

Однако в своем доме, изолированном от улицы легкой ширмой из стекла, картона или бумаги, японец бережно охраняет национальные традиции, установившиеся веками. Приходя с работы в свое небольшое чистенькое жилье, он снимает обувь у порога, сбрасывает европейскую одежду, достает кимоно, заменяющее ему халат, и, подобрав под себя ноги, садится на чистое прохладное татами к низенькому столику. Ему подают обед в украшенной цветочками пиале. Свою незатейливую пищу он берет деревянными палочками.

Дома царят национальные обычаи. Женщина, впервые в истории Японии, после войны получила избирательное право. Она может выбирать и быть избранной. Значение подобной политической реформы огромно. Но дома, в семье, женщина по-прежнему только обслуживает, выполняет распоряжения мужа, и если к нему приходят его друзья, она удаляется: женщине нельзя участвовать в мужских разговорах.

Центральные районы Токио.

Пять ртов и один завтрак

Бурная жизнь крупнейшего города мира вскипает как бы двумя прибоями — дневным и вечерним. Дневной — это деловой ритм. Трещат пневматические молотки, прогрызающие мостовые для новой очереди метро. На ажурных переплетах строительных лесов новых громад-домов и на взметнувшейся над домами городской автомагистрали вспыхивают огни электросварки. Улицы деловых кварталов полны легковыми автомобилями. Двери контор проглатывают сотни людей с папками и портфелями, а быстроходные лифты растаскивают их по этажам. Распахнуты витрины тысяч магазинов, лавок и ларьков. Пожалуй, во многих странах нет такого количества магазинов, как в Японии. Здесь торгуют чуть ли не в каждом доме. Множество улиц — это сплошной торговый ряд, это игра красок самых различных товаров и их упаковок, выступающих прямо на тротуары, как бы обрамляющих их. У универмагов мальчики, одетые в белые мундирчики, бойко открывают дверцы автомобилей. В магазинах у входа и эскалаторов стоят девочки в серенькиx костюмчиках, с раскрашенными губами и наманикюренными ногтями. Они встречают каждого приходящего и уходящего человека улыбкой и словами благодарности: «Домо аригато» («Большое спасибо»).

Но ни яркость рекламы, ни девушки-манекены, в глазах которых столько грусти, не могут сделать торговлю бойкой. И это не потому, что «предложение превышает спрос». У народа просто нет денег, чтобы купить не то что кожаный чемодан на «молниях» или диковинную вазу с золотой росписью, но даже пару ботинок. Самый скромный прожиточный минимум в Японии значительно выше средней заработной платы. Не экономисты, оперирующие общегосударственными данными с множеством цифр, а



обыкновенные жители столицы, рабочие и служащие говорили нам:

— Магазины с гнущимися от товаров полками — это видимость процветания.

Более конкретно эту видимость процветания объяснили двое рабочих-арматурщиков, с которыми мы беседовали в обеденный час на строительстве городской верховой автодорожной магистрали «Сукия-баси».

Наши собеседники сидели на мотках арматуры и из деревянных коробочек ели рис. Оба они в свое время были военнослужащими и испытали горечь поражения в войне. Танака был лейтенантом в пехоте, а Омия — сержантом в морском флоте.

— Вы спрашиваете о жизни? — с горечью в голосе сказал Омия и, взглянув на напарника, махнув рукой, добавил: — Живем хуже, чем до войны. Во всяком случае, тяжелее.

Сквозь широкие проемы арок эстакады открывалась улица с бесконечной вереницей мчащихся автомобилей, с витринами магазинов на противоположной стороне. Арматурщик Танака ткнул пальцем в сторону магазина:

— Иди, покупай что душе угодно. А на что? Где взять деньги? Говорят, что в Японии нет безработных. Да, работают почти все. Но что мы зарабатываем? Я и Омия получаем по 600 иен в день. А что можно купить на 600 иен, если один завтрак стоит 100 иен? Понимаете: 100 иен! У меня в семье пять ртов, пять завтраков. Остается еще 100 иен. Это и квартира, и одежда, и обед, и ужин на всех пятерых. Да разве я пойду в магазин себя дразнить? Людей своим видом пугать?!

Я видел этот стоиеновый завтрак в руках многих японцев. Он продается в деревянных квадратных коробочках. Посредине коробочки — комочек риса с детский кулачок. А по бокам в специальных отсеках маленькие кусочки морской травы, свежего бамбука и морская малявочка. И этот завтрак люди не съедали сразу — оставляли еще на обед. Взволнованные слова Танака обрели для меня реальную основу.

— А у вас как дела с бюджетом? — спросил я Омия.

— У меня не пять, а шесть ртов, — сухо ответил он.

Может быть, арматурщики Танака и Омия — редкое исключение? Но поговорите со строителями токийского метро — они ответят то же. И еще добавят:

— Видите, всё делаем вручную. Почти нет никаких механизмов. Что, Япония не может их изготовить? Как же! Морские корабли-гиганты строим. Железные дороги почти сплошь на электрической тяге. А сделать строительные механизмы — пустяк. Но зачем они, когда есть даровые рабочие руки? Тут бы пяти рабочих хватило, а нас полсотни. Все при деле. А сыт ты или голоден, это никого не касается.

Еще о заработке рабочего

Япония — страна индустриальная. Рабочий класс здесь высоких квалификаций. Достаточно сказать, что в прошлом году Япония по выпуску морских судов вышла на первое место в мире. Сохранила свое превосходство в судостроении она и в этом году.

Естественным было наше желание побывать на одном из крупных предприятий японской судостроительной промышленности. Об этом желании мы и сообщили ответственным работникам японского министерства иностранных дел, которые любезно приняли нас.

— Мы сделаем все возможное, — угощая сигаретой, вежливо говорил г-н Конда. — Вы можете ехать куда угодно, смотреть что хотите.

— У нас желание побывать на судостроительном заводе, — повторил я.

— Позвоните через три дня, все будет сделано.

Мы позвонили через пять дней.

— Немножко потерпите, все будет сделано.

Позвонили еще через пять дней. Тщетно. Звонили в третий и четвертый раз. Наконец позвонили в пятый раз, уже настойчиво:

— Нам скоро возвращаться домой. Как бы побывать на судостроительном заводе?

— Завтра вас просит зайти господин Омори из фирмы «Мицубиси». Он все сделает, — был утешительный ответ.

Назавтра, в 10 часов утра, лифт доставил нас на один из этажей конторы крупнейшего концерна Японии — «Мицубиси». Это один из некоронованных властелинов страны. «Мицубиси» хозяйствовал в Японии до войны. Этот концерн грозили ликвидировать. Даже сам Макартур, бывший американский наместник в Японии, и то требовал: «Надо распустить все концерны-дзайбацу!» А концерн «Мицубиси» остался цел и невредим.

Судостроительная, металлургическая и многие другие области промышленности снова собраны в один мощный семейный кулак.

Нас принимал начальник отдела информации фирмы. Он, как принято в Японии, здороваясь, протягивает визитную карточку:

— Тацио Омори.

Пригласив нас садиться, он сам опускается в мягкое кресло и, утонув в нем, монотонно произносит заученное:

— По судостроению Япония вышла на первое место в мире, обогнав Америку и Западную Германию.

Мы внимательно слушаем подробное изложение причин такого превосходства Японии. Наконец решаемся прервать собеседника вопросом:

— Вы утверждаете, что себестоимость кораблей, изготовленных в Японии, самая низкая в мире? Чем это объяснить? Сырье у вас привозное. Техника едва ли более совершенна, чем в Америке или Западной Германии.

Тацио Омори улыбается.

— Вы хотите сказать, что у нас дешевая рабочая сила? Ну, конечно, это так. Но профсоюзы у нас борются за повышение жизненного уровня...

— Если сравнить жизненный уровень рабочего Америки, капиталы которой глубоко проникли в Японию, и жизненный уровень вашего рабочего, что получится?

— Официальных данных я не имею.

— А неофициальные, жизненные данные? Курс одного доллара — 360 иен. Говорят, средний месячный заработок рабочего в Японии не превышает 14 500 иен. Выходит, 40 долларов в месяц.

— Зачем вы берете такие крайности? — несколько обиженно замечает г-н Омори. — Я не хозяин фирмы, я только чиновник. Мне не положено рассуждать о таких высоких материях.

— Спасибо за разъяснение, — в тон отвечаю я. — Вы знаете цель нашего визита? Нельзя ли побывать на одном из судостроительных заводов вашей фирмы и рассказать о нем советскому читателю? Можно это сделать?

— Сейчас, к сожалению, нельзя, — не скрывая неловкости, сообщает собеседник. — Недавно у нас на заводах был трудовой конфликт с рабочими. Предприятия долго стояли, и сейчас все заняты выполнением срочных заказов. Осмотр заводов запрещен.

Омори обильно снабжает нас проспектами, рекламами, фотографиями.

— Больше ничего сделать не могу, — извиняюще добавляет он.

Чиновники из министерства иностранных дел также не могли, а может быть, не пожелали помочь нам посетить какой-либо из заводов Японии. Но в последний день нашего пребывания в Токио они вдруг проявили неслыханную заинтересованность:

— Завтра в 10 утра вы сможете побывать на заводе фотоаппаратуры.

Нам оставалось выразить глубокую признательность за столь любезное внимание и отказаться от предложенных визитов.

Свет не без добрых людей. Много таких людей и в Японии. И они, эти добрые друзья, заинтересованные в укреплении добрососедских отношений между двумя соседними странами — Японии и СССР, — охотно выполняли роль гидов, показывая нам жизнь страны такой, какая она есть на самом деле.

В Киото, древней столице Японии, свято сохраняющем национальный колорит в городских постройках и в быту, мы побывали на небольшой текстильной фабрике «Кавасима». Здесь ткут тяжелые обивочные материалы. Текстильное производство в Киото, особенно шелковое, богата многовековыми традициями. Что ни семья, то мастера по шелку. В светлых цехах фабрики «Кавасима» мерно стучат станки, бесшумно снуют челноки. Девушки в белых блузках, склонившись над станками, внимательно следят, не порвется ли нитка основы. Нас сопровождает инженер фабрики Хорибэ, мужчина средних лет, застенчивый и немногословный. Он стоит посредине цеха и как бы ждет нашего вопроса.

— Хороший, светлый, чистый цех, — говорю я.

— Да, — соглашается он.

— Оплата труда у вас сдельная или поденная?

— Поденная.

— И большая?

Хорибэ в первый раз улыбнулся. Иронически. И не ответил на вопрос. Тогда я, указав на одну ткачиху, спросил:

— Сколько она получает в месяц?

— Они все одинаково получают. По семь тысяч иен в месяц. —



Рабочие-арматурщики Омия и Танака.

За завтраком.



И Хорибэ опять улыбнулся. И тоже иронически. Видимо, удивленный нашей неосведомленностью.— Женский труд у нас ценится ниже мужского.

— Но как же так? Женщина в Японии получила равные с мужчиной политические права.

— Политические, а не трудовые,— заключает инженер.

— Семь тысяч иен? — снова спрашиваю я.— Такого заработка на пропитание одного человека не хватит.

— Да,— грустно произносит инженер.

— А сколько вы, господин Хорибэ, получаете?

— Тридцать тысяч иен в месяц.

— Это прилично? — допытываюсь я.

— У меня в семье семь человек.— И в глазах инженера потухает огонек.

...В Японии производят много всяких оригинальных вещей, например, карманные радиоприемники размером немногим больше портсигара. Компания «Саккайся» изготовляет некоторые детали к таким радиоприемникам, в частности конденсаторы.

Табу Рюсабуро — президент компании, на завод которой мы пришли,— молодой капиталист. Как он утверждает, когда-то был даже революционером и сидел за вольнодумство в тюрьме.

— И вот уже несколько лет капиталист,— с притворным оживлением говорит он.— Дело наше трудное. Заказчики, большие фирмы жмут и давят нашего брата.

На заводике 200 рабочих. Они сидят за столиками, склонившись к миниатюрным станкам, и пробивают крохотные отверстия на тончайших пластинках. Сам Табу водит нас по цехам-комнаткам. Он доволен, что радиоприемники, детали к которым изготовляет его заводик, экспортируются в Южную Америку, в Канаду, в Индию и даже в США. Он хотел бы видеть в числе покупателей Советский Союз и Китай.

— Торговать с вами нам выгодно,— говорит он.— Производство пошло бы у нас шире. В этом и рабочие заинтересованы.

— А какой интерес у них, у рабочих?

— Прямой! Заработок! Сейчас у нас производство маленькое, можно сказать, карманное,— ну, и заработки низкие. Средний месячный — 10 тысяч иен.

— А не средний?

— У мужчин побольше. У меня ведь 120 женщин. Они получают на 20% меньше, чем мужчины.

— За одинаковую работу?

— Да.

— И за одинаковую выработку?

— Да.

— Почему же так? Ведь это несправедливо. Вы же были когда-то революционером.

Собеседник смутился и не ответил на мой вопрос.

«Дорогой» палец

Порез пальца руки бритвой столкнул меня с одной стороной японской действительности.

И тогда-то...

Но лучше все по порядку. Нарыв на пальце привел меня в одну из поликлиник Токио, недалеко от нашей гостиницы. Небольшой, малоприметный двухэтажный домик, под окнами которого стоял грохот — рабочие рыли траншеи и укладывали в них железные балки. У порога я снял ботинки и в тапочках, сопровождаемый переводчицей, проследовал в коридор, по обеим сторонам которого было много дверей. На деревянных скамеечках сидели ожидающие врачебного приема пациенты. У кабинета хирурга присели и мы.

Когда подошла очередь, мы проследовали в маленький кабинетик. Молодой врач, прежде чем поднять взор на нас, заполнял графы в каком-то листке. Потом он пригласил меня сесть. Я показал палец. Дальше все происходило быстро и молча. Нарыв был вскрыт, наложена повязка, и врач предупредил:

— Палец мочить нельзя. Через день надо прийти на перевязку.

Поблагодарив врача, я спросил:

— Я иностранец. Может быть, нужно уплатить за визит?

Переводчица, выслушав ответ врача, сказала:

— При выходе вам дадут счет и лекарство.

И действительно, через небольшое окошечко около выхода из поликлиники мне передали пакетик с порошками — предупреждение от загноения — и счет на... 1 190 иен.

Я вопросительно посмотрел на переводчицу. Она взяла счет и расшифровала:

— 300 иен — прием. 500 иен — операция и 390 иен — лекарство.

И все же размер оплаты за столь незначительную услугу меня удивил.

— Такую плату берут только с иностранцев?

— Нет, это обычная такса для любого клиента. У нас в стране медицинская помощь платная.

— 1 190 иен за один прием, пустяковую операцию и несколько порошков — не слишком ли высокая плата, если учесть низкие заработки рабочих и служащих Японии? — продолжал удивляться я.

— У нас такие порядки,— смущенно ответила медицинская сестра.

Через день, как и было указано врачом, я пришел на перевязку.

Заполнив графу — теперь я уже знал — в счете поликлиники, врач быстро сменил повязку и готов был пригласить очередного пациента. Но я, извинившись, спросил его:

— Ваша поликлиника частная?

— Да, частная.

— А в государственных поликлиниках тоже берут плату с пациентов?

— Обязательно. И в таком же размере.

— А если больного надо положить в больницу?

— Больницы тоже платные,— последовал ответ.

Поняв смысл моих вопросов, врач продолжал:

— Государственные субсидии на здравоохранение у нас пока очень мизерные. Особенно сейчас, когда значительная часть бюджета идет на так называемые собственные вооруженные силы. Больше половины всех врачебных учреждений в Японии частные. Но и государственные тоже проводят платное лечение по той же таксе: не хватает средств.

— Однако у вас лечение очень дорогое,— заметил я.

— Конечно, дорогое,— поддержал врач.— Вы можете себе представить, моя месячная зарплата в этой поликлинике — 20 тысяч иен, а вы за два визита ко мне уплатили уже — сколько? — 1 340 иен. И вам еще два раза надо прийти на перевязку. Еще 300 иен. Значит, 1 640 иен? Нет, болеть у нас невозможно,— сокрушенно закончил он.

Я больше не утруждал врача вопросами. При очередных перевязках, сидя на скамейке, ожидая очереди, я видел, как пациенты отсчитывали деньги в кошельке, а потом, при выходе из кабинета врача, говорили:

— Нет, нет, лекарство я не возьму...

Тогда-то я и подумал: не так все просто в жизни — даже палец может стать «дорогим».

Токио. Район Асакуса.



ПО ЯПОНИИ

Фото Н. КОЗЛОВСКОГО.



Известная японская киноактриса Матино Кио.

Город Ниигата.

В городе Нара олени считаются священными животными.

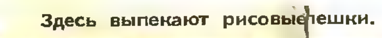


Вечером в одном из маленьких ресторанов Токио. Сюда приходят целыми семьями.



Грузовые рикши.

На улицах Токио.



Здесь выпекают рисовые лепешки.



Живая реклама.



На одной из площадей Токио.





Вечером в одном из маленьких ресторанов Токио. Сюда приходят целыми семьями.



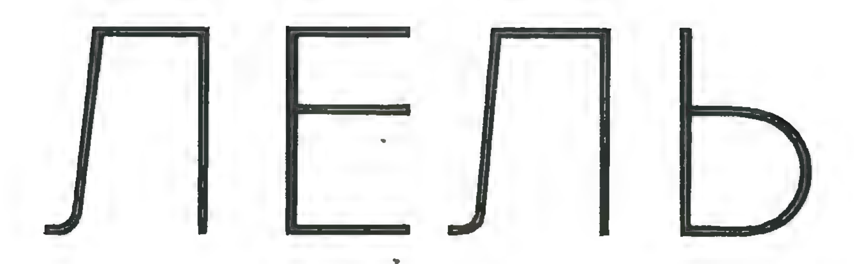
Грузовые рикши.



На улицах Токио.

Здесь выпекают рисовые





Маленькая повесть

Константин **СИМОНОВ**

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Начало этой истории мне рассказал покойный Василий Николаевич Лопатин давно, еще в сорок пятом году, а конец ее совсем недавно вдруг сам пришел ко мне по почте и заставил вспомнить начало.

В апреле сорок пятого года я зашел к Лопатину накануне его последней поездки на фронт. Он посетовал, что на этот раз мы едем не вместе, и спросил: что я буду писать после войны? Близкий ее конец был уже очевиден. Я сказал, что хочу засесть писать роман о войне. Лопатин покачал головой и насмешливо сморщил свой утиный нос.

— Так сразу и засядете? Сразу вряд ли выйдет.

— А вы? — спросил я, в свою очередь.

— Я десять лет после войны буду писать о чем угодно, кроме нее. А вам, как говорится, на зубок, могу подарить один любопытный материал.

— На тему? — спросил я.

— На тему о том, как долго может прожить сушеный клоп, — усмехнулся он и, повернувшись вместе с креслом, стал копаться в шкафу, где у него лежали папки с материалами и черновиками.

— Вот, — сказал он, вытягивая одну из них и развязывая тесемки, — комплект многотиражечек, выходивших при немцах в разных градах и весях. Постойте, да где ж она?.. Ах, вот, самая интересная — «Феодосийские новости»! Обратите внимание: специально литературный номер.

Я взял в руки газету. Она была жалка на вид, удивительно скверно набрана и напечатана на оборотной стороне листов, с другой стороны которых были оттиснуты бланки почтовых накладных с графами: «Номер, число, получатель, наложенный платеж...»

На первой полосе рядом со сводкой германского командования была напечатана передовая под названием «Свобода творчества!». Начиналась она так: «Всякому русскому известно, что такое творческий труд, особенно писателя, во время господства большевиков. Большевики всеми имеющимися у них средствами ограничивали творческую фантазию. Почти за двадцать пять лет большевизма в русской литературе не создано ничего ее достойного. Невыносима была жизнь творческих работников, плохо было прозаикам, доставалось и поэтам. В большевистское время у нас в Крыму часто можно было услышать: «Эх, если бы разрешили, эх, если бы напечатали, рассказы написал бы я, целый лес мыслей!» «А я бы стихи — едва ли бы кто написал лучше!» Но не разрешали и не печатали!»

Затем от мрачного прошлого автор переходит к радужному будущему: «Теперь этот кошмар кончился. Нет больше ограничений для творчества, оно свободно! Уже сейчас в Крыму без всякого ограничения, по инициативе представителей германского командования, привлекаются все силы литераторов и работников искусства для содействия конструктивным задачам нового порядка. Теперь можно писать все и свободно печатать! И нам кажется, что уже дописываются последние строки рассказов, наполненных мыслями, ставится последняя запятая в чудесных стихах».

Заканчивалась передовая призывом: «Разите силы большевизма могучим свободным словом! Слава Германии!» Внизу стояли инициалы «Н. З.».

— Ну как? — усмехаясь, спросил Лопатин.

— Бред какой-то, — сказал я, еще раз проглядывая этот манифест о свободе творчества по инициативе представителей германского командования. Мне все еще казалось, что такое невозможно прочесть в реальной жизни. Однако все это было напечатано черным по белому.

— А теперь переверните, — сказал Лопатин, — и посмотрите, как теория подпирается практикой.

Я перевернул газету и увидел широкий, на всю полосу заголовок: «Литературная страница».

Страница наполовину состояла из подборки грязных и глупых анекдотов под общим заголовком «Антисоветский фольклор» и наполовину — из стихов. Сверху шло одно длинное стихотворение, потом снимок какого-то готического замка с надписью «Красоты Германии» и ниже — еще одно, тоже длинное стихотворение.

Оба стихотворения были обветшалой лирической дребеденью. Тут были и «розовый ветер», и «розовый трепет», и «зарево», и «марево», и «золотая птица неволи», и еще черт знает какой мусор. Одно из стихотворений было подписано «Н. Лель», а другое — «Н. Евгеньев».

— Теперь обратите внимание на подпись редактора, — сказал Лопатин, — «Н. Зайцев»! Все четыре этих лица: «Н. З.», «Н. Лель», «Н. Евгеньев» и «Н. Зайцев» — один и тот же человек — Николай Евгеньевич Зайцев, с которым я некогда вместе начинал в литературе и которого много лет спустя обнаружил в Феодосии в качестве редактора этой вот многотиражечки...

Лопатин помахал газетой, его глаза за очками блестели холодно и сердито; давность происшедшего не смягчила его, он был зол и не скрывал этого.

— Встреча была довольно занимательная. Рассказать?

* * *

Прошло много лет, но, наверно, потому, что я тогда видел Лопатина последний раз в жизни, этот его рассказ запомнился мне особенно хорошо.

В конце 1941 года Лопатина послали от «Красной звезды» в только что взятую Феодосию. Летя часть дороги на открытом «У-2», он довольно сильно обморозился. Он был не любитель рассказывать о своих злоключениях, но об этом упомянул, потому что оно имело отношение к последующим событиям.

В Новороссийске он сел на эсминец и утром 31 декабря, перевязанный по дороге корабельным врачом, сошел на феодосийскую землю с руками, забинтованными от запястий до пальцев, и с лицом, на котором незабинтованными оставались только глаза, нос и рот.

Феодосийской комендатурой временно заправлял комиссар первого высадившегося в городе десантного отряда, коренастый веселый моряк, радостно возбужденный недавней победой. Рассказав, как его отряд первым, прямо с катеров, вылез на мол: — Отдай Феодосию, и точка! — комиссар положил перед корреспондентом тот самый номер «Феодосийских новостей», который четырьмя годами позже показал мне Лопатин.

— И тут морячки не подкачали, — рассмеялся комиссар, — редактора взяли тепленьким, прямо в типографии. Высадились как снег на голову! Между прочим, этот редактор выдает себя за писателя, просит капитана НКВД, чтобы тот его в живых оставил, как культурную ценность.

— Я, кажется, знаю этого человека, — медленно, словно сам еще не до конца веря собственным словам, проговорил Лопатин. — Правда, это было давно. Его оставили в живых?

Моряк пожал плечами.

— А чего спешить? Фашисты ради него десанта не сбросят! Марки платили, харчи давали, а спасаться — это уж кто как может! Вы лучше всего сходите к Шаморикову, он на Греческой, 9. Я ему позвоню про вас и объясню все, что вам надо.

— Кто это Шамориков?

— Капитан НКВД, я вам о нем говорил. Этот редактор у него сидит, если в Новороссийск не отправили...

Феодосию бомбили. Пока Лопатин добрался до Греческой, 9, ему дважды пришлось ложиться и пережидать бомбежку.

Девятый номер был крохотный, совершенно целый домик, стоявший между двух полуразрушенных зданий. Предъявив документы часовому, Лопатин попал в небольшую, чистую и почти пустую комнату. Посреди нее за маленьким письменным столом сидел капитан НКВД — рослый мужчина в форменной фуражке, ватнике и ватных брюках. За своим маленьким столом он казался особенно большим.

— Мне звонил про вас морской комендант, — сказал капитан, протягивая руку Лопатину. — Долго не шли; я уж подумал, не разбомбили ли вас. Даже забеспокоился.

При этих словах на его большом, крутолобом, усталом лице не отразилось и тени беспокойства.

— Ладно, давайте для порядка, — сказал он, когда Лопатин протянул ему удостоверение личности. — А моя фамилия Шамориков. Присаживайтесь! Морской комендант мне звонил, что вас обстановка, которая тут была при фашистах, интересует. Что, спрашивать будете или рассказать вам, что я сам думаю?

— По-моему, я вас где-то видел, товарищ Шамориков, — сказал Лопатин, приглядываясь к капитану, лицо и фигура которого казались ему знакомыми.

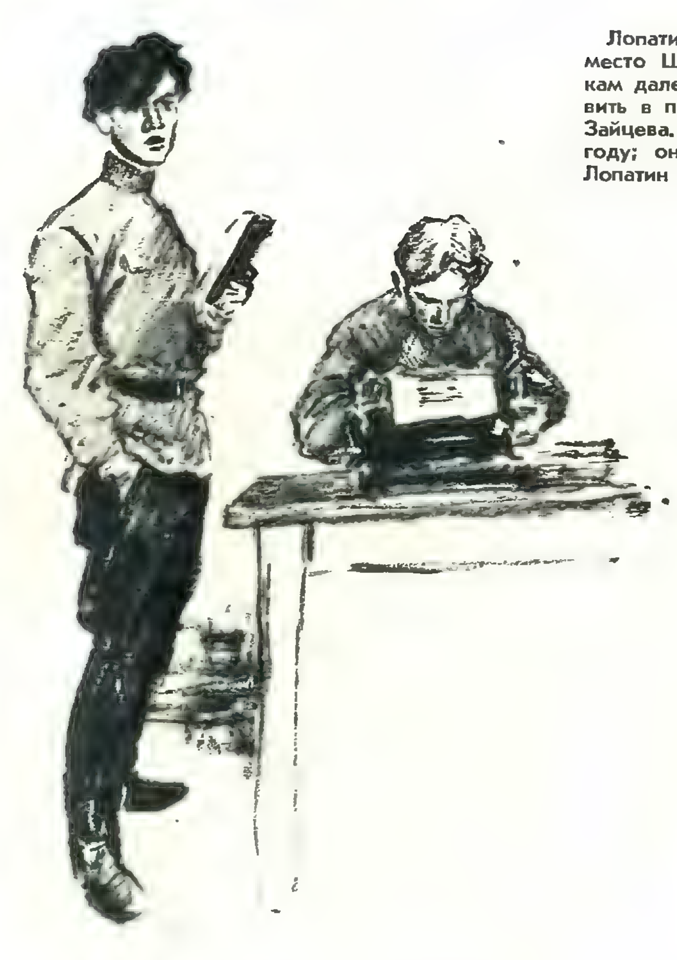
— Точно, — сказал капитан, — в сентябре, на Арабатской стрелке. Я был уполномоченным в полку, а вы приезжали с членом Военного совета. Я вас тоже узнал, только в первый момент не догадался из-за бинтов. У вас лицевое ранение?

— Нет, просто обморозился. Выходит, старые знакомые; это мне повезло!

— Почему повезло? — пожал широкими плечами Шамориков. — Ничего удивительного: мы же из Крыма драпали — нам же самим его и брать приходится! Все вполне нормально! Вот отдуваюсь тут пока вместе с морским комендантом. Один за все: и за горсовет, и за НКВД, и за милицию. Люди еще с Большой земли не подъехали, жду, может, завтра прибудут. А чуть что — за все головой отвечаю. Другого и разговора со мной нет. Иногда до того доотвечаешься, что забываешь, что у тебя голова одна и запасной по штату не положено. Порядком здесь сволочей в городе оказалось, товарищ Лопатин, — без паузы, подряд, добавил он. — Никогда бы не подумал!

— Действительно много? — с ноткой недоверия спросил Лопатин.

— Сверх ожидания... — И по его тону Лопатин понял, что эти слова про сволочь, не результат служебного рвения капитана или его профессиональной подозрительности, а грубая и печальная правда в устах удивленного ею, спокойного и разумного человека. — Мне бы по штату радоваться: почти всех изловил, не ушли! А меня зло берет: откуда они, черти их дери? Вот сижу и думаю. Отчасти, конечно, объясняю тем, что курортный приморский город, за долгие годы набилось много всякой



перелетной птицы... Думал и так: все же это Крым, при Врангеле последняя пристань, кто не уплыл, тому бежать уже некуда было — здесь осели.

— Я хотел спросить вас о редакторе здешней газеты, — сказал Лопатин.

— Знаю, — кивнул Шаморииков, — мне морской комендант звонил. Он здесь, я его еще не отправил. Этот не так давно, лет десять назад, сюда приехал. Тяжело ему пришлось с газетой. Авторы-то у него отыскались, какой-то даже доцент в каждом номере подвалы писал, как со времен царя Гороха немцы русских всему учили: и как лечь, и как встать, и как мама-папа сказать! А вот набрать да напечатать газету — с этим они помаялись: тут рабочий класс себя показал! Из типографии все, кто не успел уехать, или скрылись, или из города ушли. Одного бывшего печатника он, правда, нашел, многодетного, семь душ — голод заел... А набирать самому приходилось, с этим доцентом; вдвоем стояли и набирали в час по чайной ложке. За этим делом их и взяли...

— Этого редактора я когда-то звал Колей и сам на машинке перепечатывал ему стихи,— вдруг ни с того ни с сего сказал Лопатин. Именно это почему-то показалось ему сейчас самым обидным в их прошлом знакомстве с редактором «Феодосийских новостей».— Можно будет поговорить с ним?

— А вам охота? — подняв на Лопатина свои усталые глаза, спросил Шамориков, и по его лицу стало видно, что ему самому до крайности неохота разговаривать с этими людьми.

— Мне это нужно, — твердо сказал Лопатин и почувствовал, что это и в самом деле так.

— Что ж, нужно так нужно, — сказал Шамориков. — Я сейчас еду в порт, а по дороге заверну туда, где они содержатся, и пришлю вам этого Зайцева с конвоиром. Оставайтесь тут у меня.

Он подошел к столу, собрал в ящик бумаги, профессионально, без колебаний, не видя в этом никакой неловкости перед Лопатиным, запер ящик на ключ и, положив ключ в карман, вышел из комнаты.

— Да,— лицо Шаморикова на секунду вновь появилось в дверях,— я не прощаюсь, потому что мы вечером с вами увидимся. Морской комендант звонил, чтоб, если служба позволит, вместе встретить Новый год. И вам велел передать.

Лопатин остался один. Он сел за стол на место Шаморикова и, прислушиваясь к звукам далекой бомбежки, попробовал восстановить в памяти облик того, прежнего Николая Зайцева. Это было в Саратове в двадцатом году; они, как говорится, вместе начинали. Лопатин только что демобилизовался из армии, ходил в шинели и в обмотках и искал службу; наконец он устроился выпускающим в газету «Водник». Там на литкружке они познакомились с Зайцевым. Зайцев, в недавнем прошлом делопроизводитель губвоенкомата, носил оставшиеся от прежней должности гимнастерку и галифе и неопределенно служил сразу в нескольких местах: чем-то заведовал в театре, вел литературный кружок в клубе водников и еще что-то такое делал в культпросветотделе губсовпрофа. Кроме того, он был членом местного пролеткульта, а главное — уже печатал иногда в губернской газете свои стихи. Это составляло предмет робкой зависти Лопатина: зайцевские стихи ему нравились. Они были звучные и все в мировом масштабе. Лопатин и до сих пор помнил еще из них две строчки:

...Красным молотом,
пролетарий,
Раскрои черепа полушарий!

Сам Лопатин был тогда влюблен, писал любовные стихи, подражая Есенину, и Николай Зайцев дружески, но беспощадно громил его за это. И именно вспомнив, как Зайцев громил эти стихи, Лопатин вспомнил тогдашний его облик.

Волосы у Зайцева были густые, черные, длинные; когда он сердился или горячился, волосы прядями плескались на лоб и обратно, а горячился он, всегда картинно закладывая при этом руки в карманы галифе и потряхивая головой. Так же он читал и свои стихи, громко и отрывисто, встряхивая головой на каждой рифме. Отец Зайцева, известный в городе врач, приходил вместе с женой на все чтения стихов и усаживался где-нибудь в уголке; он одновременно и подкармливал сына и робел перед ним. Зайцев жил у отца дома, но терпеть не мог, чтобы его старомодные родители попадались ему на глаза в общественных местах.

Вообще-то Лопатину уже и тогда не все нравилось в Коле Зайцеве, но он старался подавлять в себе это чувство из преклонения перед его талантом. Как это часто бывает в юности, он слепо и самоотверженно заблуждался и, сравнивая себя с Зайцевым, в грош не ставил собственные способности. Когда Зайцеву обещали выпустить его стихи в губернском издательстве, Лопатин одним пальцем на машинке два раза терпеливо и преданно перепечатал ему всю книжку и потом волновался за ее судьбу едва ли не больше, чем сам Зайцев.

Через год Лопатин уехал в Москву, стал работать в московской газете «Красный водник», забросил стихи, начал писать заметки и очерки, поехал в одну далекую командировку, во вторую, в третью, перешел в другую газету, стал участником одного из пробегов, потом перелетов, побывал в Средней Азии и на Дальнем Востоке и незаметно для себя сделался из неудачливого поэта довольно известным журналистом.

В разгар нэпа Зайцев приехал в Москву и после долгих трудов выпустил в каком-то получастном-полукооперативном издательстве свою новую книжечку — не то «Кипень», не то «Цветень», что-то в этом духе. Наверху стояло: «Николай Зайцев», а внизу — «Первая книга стихов».

Книжку разругали именно в той газете, где работал Лопатин, и Зайцев пришел к нему объясняться. Лопатин почти год ездил по Сибири, не имел никакого отношения к рецензии, но, прочитав книжку Зайцева, тихим, запинающимся голосом, который появлялся у него, когда он бывал вынужден говорить неприятности товарищам, высказал Зайцеву свое мнение. В книжке преобладала унылая лирика мелких обид и разочарований. Лопатин испытал странное ощущение, словно у его старого знакомого Коли Зайцева отняли какую-то былую, красивую жизнь и он теперь настойчиво тоскует по ней.

Были в книжке и другие стихи, надменно-взбаламученные:

Я хочу промчаться на моторе,
В мир влететь, как в кегельбан шары...
Я хочу быть горечью в кагоре,
Пеной в море, вечным «вне игры»...

И еще что-то незапомнившееся — про бензинный угар Европы и зовущий во тьму джазбанд.

Лопатин назвал эти стихи отрыжкой нэпа, но Зайцев даже не обиделся: он считал себя выше этого.

— Не понимаешь? Когда-нибудь поймешь,— сказал он.

А в ответ на вопрос, почему он назвал эту книжку первой книгой стихов — ведь первая, «Красное зарево», вышла у него в Саратове,— только пожал плечами:

— Разве это были стихи? Это была телячья радость молодого щенка времен военного коммунизма. А здесь есть глубина и горечь. Это — мое настоящее «кредо».

«Кредо» после газеты обругали еще в одном или двух журналах и забыли о нем, но Зайцев продолжал жить в Москве, снимал угол и носил по редакциям новую книжку, полную, как он сам говорил, формальных поисков. Она называлась «Московские асфальты». «Асфальтов» никто не брал, и Зайцев, чтобы жить, устроился при какой-то литературной консультации отвечать начинающим и стал сочинять куплеты для эстрадников, получая от них деньги из рук в руки. В минуты меланхолии он называл это «морально пропивать свой талант».

Потом как-то под седьмое ноября он принес Лопатину длинные стихи в духе «Красного зарева».

— Отдай редактору, пусть почитает, — сказал он небрежно. — Вернулся к азам: пишешь настоящее — не понимают!

Но стихи, написанные Зайцевым в подражание временам «Красного зарева», сейчас, семь лет спустя, показались Лопатину холодными и риторическими: в них не было души. Он сказал об этом Зайцеву. Тот снова не обиделся, лишь пожал плечами.

— Видимо, не приспособлен! — Но стихи не забрал. — Покажи своему редактору, он же в стихах ни уха, ни рыла!

Лопатин молча сунул стихи в стол. Он не любил цинизма.

Через год Зайцеву удалось напечатать в «Прожекторе» два стихотворения из «Московских асфальтов». Стихи были полубредовые, и их жестоко выругали.

Потом Лопатин долго не виделся с Зайцевым, и вдруг в журнале РАППа «На литературном посту» в отделе, где печатались короткие рецензии, за подписью Зайцева стали появляться желчные отзывы на книжки разных поэтов. Он бичевал есенинщину и лефовщину, формализм и конструктивизм и повсюду с пристрастием выискивал мелкобуржуазные корни. Его злость порой переходила в остроумие, и Лопатин тогда подумал, что эти маленькие завистливые рецензии явно удаются Зайцеву лучше, чем собственные стихи. Так продолжалось с год, вплоть до крошечного, не вошедшего в историю литературы скандала, который заставил редакцию отказаться от услуг Зайцева. Какой-то поэт представил в журнал письмо, где Зайцев восторгался подлинной, на века рассчитанной поэтичностью впоследствии беспощадно им же разруганной книжки. В двадцать девятом году, просуществовав пять лет в Москве, Зайцев как в воду канул и напомнил о себе лишь через три года. Он прислал сразу письмо и рукопись.

«Теперь, когда наконец ликвидирован кошмар этого всех нас душившего РАППа,— писал он Лопатину,— и поэзия сможет вздохнуть свободней, я посылаю тебе рукопись того, что отстоялось в моей душе за все годы. Ты теперь имеешь вес в литературе и способен замолвить доброе слово в издательстве».

В душе у Зайцева отстоялось штук сто сти-

хотворений. «Неужели он в самом деле считает, что это можно печатать?» — с удивлением подумал Лопатин, прочитав их все.

Из рукописи было ясно, что Зайцев отвергал все моды двадцатых годов, которым он следовал в «Кипени» и «Московских асфальтах», и возвращался к своим тайным первоисточникам — Надсону и Северянину. Рукопись, называвшаяся «Раздумья», состояла из удивительно плохих стихов. Зайцев предлагал их печатать под безвкусным псевдонимом «Н. Лель». История с изгнанием из журнала очевидно, жила в его памяти, и он не хотел рисковать.

Стихи про «розовый ветер» и «розовый вечер», опубликованные теперь в «Феодосийских новостях», как раз открывали первый отдел сборника, а письмо и рукопись были присланы из Симферополя. Лопатин тогда еще удивился, чего это Зайцева занесло в Симферополь!

Фраза Зайцева насчет «душившего нас всех РАППа» разозлила Лопатина своим нахальством, но он все-таки сдержался и отправил рукопись обратно с одним из тех спокойных и необидных писем, что пишут больным и неудачникам. Однако вместо «да», которое было нужно Зайцеву, Лопатин все-таки написал «нет» и в ответ получил злобную телеграмму: «От последыша РАППа ничего другого не ждал».

В РАППе Лопатин никогда не состоял, не из-за каких-нибудь разногласий, а просто потому, что все время разъезжал по стране и считал себя больше журналистом, чем писателем. Зайцев это прекрасно знал; его телеграмма просто выражала меру его озлобленности и против Лопатина и вообще.

И вот прошло еще десять лет, и сейчас сюда, в эту комнату, войдет Зайцев — заключенный, или арестованный, или задержанный, — как это называется, если человека вот так поймали, как его? «И как к нему обращаться? — подумал Лопатин. — Гражданин Зайцев или по имени-отчеству?» По имени-отчеству он к Зайцеву никогда не обращался, а звать его Колей теперь не приходило в голову.

Еще недавно Лопатин вообще не мог представить себе случившегося, но то, что это случилось именно с Зайцевым, удивляло его все-таки меньше, чем если б речь шла о ком-то другом. Самовлюбленный сын интеллигентных, но глупых родителей, в двадцать лет считавший себя способнее всех, а потом оказавшийся и неспособным и, главное, неспособным понять это, такие люди охотнее всего сваливают собственные вины и беды на всех других: на окружающих, на общество... Отсюда недалеко и до удобной для самолюбия мысли, что при другом строе ему жилось бы лучше. Держи карман шире! Литконсультаций и литкружков при другом строе нет, там ему пришлось бы действительно спустить семь потов, чтобы заработать себе на хлеб, да и книжку стихов пришлось бы выпускать на собственный счет. Впрочем, о таких подробностях такие люди обычно забывают...

Задумавшись, Лопатин сдвинул ушанку и погладил свалявшиеся волосы. Очень хотелось снять с себя бинты: обмороженное лицо горело и зудело под ними.

Дверь скрипнула, Лопатин повернулся.

— Разрешите войти, товарищ майор? По приказанию капитана Шаморихова доставил к вам на допрос арестованного...

Несильным, презрительным движением вытолкнув на середину комнаты шедшего перед ним человека, конвоир прикрыл дверь и прислонился к ней, широко расставив ноги и не выпуская из рук винтовки.

Человек, вытолкнутый на середину комнаты, был Зайцев, в этом не оставалось сомнений. Он был такой же высокий, как раньше, в измятом от лежания, но приличном черном суконном пальто с потертым котиковым воротником шалью. В руке он держал шапку-«финку», тоже отороченную потертым котиком. На ногах у него были боты с пряжками, под пальто виднелась несвежая сорочка с запонкой посредине, но без воротника. «Наверное, сняли воротник и галстук, чтобы не повесился», — подумал Лопатин.

У Зайцева и в молодые годы был внушительный вид: рост, правильные черты лица, уверенная посадка головы. Люди с такой внешностью обычно на первых порах умеют вселить веру в важность своей деятельности, особенно если деятельность эта загадочна для непосвященных. В двадцатые годы Зайцев своим внушительным, скорбно-обиженным видом сразу давал понять начинающим, что они оторвали его от важных занятий за собственным письменным столом.

Сейчас Зайцев имел вид не просто внушительный, а почтенный. Он совершенно поседел, и его белая профессорская, с начинающимися залысинами шевелюра подчеркивала значительность его припухшего от водки, но еще вполне благообразного лица с обиженно сжатыми узкими губами и мрачным, сложившимся за много лет привычно брезгливым выражением: «Эх, да что вы все понимаете!..»

Даже сейчас у Зайцева сохранялось именно это выражение. Очевидно, он от растерянности не следил за своим лицом, и оно само непроизвольно сложилось в привычную гримасу. Зато большие, поросшие по краям седыми волосами уши Зайцева, всегда розовые, сейчас были красными: они горели от волнения.

Лопатин показал ему на табурет напротив себя; Зайцев полупоклонился и сел. Потом посмотрел на свою шапку-«финку», поискал, куда бы положить ее — на стол не решился, на коленях не приладил, — и положил рядом с собой на пол. Его глаза забегали по забинтованному лицу Лопатина. Бинты пугали его: человек с забинтованными лицом и руками, наверное, был ранен и зол.

— Так вы Зайцев? — спросил Лопатин, поняв за минутное молчание, что Зайцев не узнал его и, значит, разговор с ним можно вести так, словно и ты, в свою очередь, видишь его впервые.

— Я Зайцев, — как эхо откликнулся Зайцев, по-прежнему бегая глазами по забинтованному лицу Лопатина.



— Расскажите, как вы стали редактором газеты «Феодосийские новости»?

— Как рассказывать, товарищ майор, подробно или кратко? Когда меня первый раз допрашивали, мне приказали кратко. — Зайцев недовольно моргнул. — А чтоб были ясны мотивы, надо подробно.

— Как хотите,— сказал Лопатин,— но только правдиво.

— Только правдиво, исключительно правдиво! — почти выкрикнул Зайцев и знакомо тряхнул головой, как раньше, когда сердился или читал стихи.— Конечно, само собой разумеется, был вынужден, то есть принужден, заставлен,— торопливо добавлял он, отыскивая подходящее слово.— Заставлен, потому что они искали кандидатуру и вызвали меня... пришли домой и привели с полицаем...

— А почему они остановились именно на вас? — спросил Лопатин, почти с уверенностью подумав, что и не приходили и не приводили, а сам пришел к ним, поэтому и остановились именно на нем.

— Потому что знали, что я писатель! — быстро сказал Зайцев. Его розовые уши перестали гореть, ход допроса начинал вселять в него надежды.— Я напечатал в Москве ряд книг стихов и выступал с критическими статьями по советской литературе. Но потом...— Зайцев кашлянул и со вздохом приложил большую руку к своей широкой груди.— Слабые легкие, пришлось все бросить, уехать на юг, иначе я бы не сидел сейчас здесь перед вами! Но лучше бы я не поехал лечиться и умер тогда...

Слушая это, Лопатин подумал о себе. Зайцеву мешала узнать его не только военная форма и бинты, но и очки: тогда он ходил без очков.

— Почему вы не эвакуировались? — спросил он.

— А разве все, кто хотел, успели? — вздохнул Зайцев. Он лгал про себя, прячась за правду о других.— Вам, наверное, не попадались мои книги? — помолчав, спросил он.

— Нет.

— А вот им попадались,— укоризненно сказал Зайцев.— Они, на беду нам, все знали! Привели меня и сказали: «Вы известный советский писатель, мы знаем ваши коммунистические произведения — так они сами назвали мои книги и статьи,— и вы заслуживаете за это расстрела. Но большевизм все равно погиб, а у вас есть возможность спасти себя, заставив нас забыть ваше прошлое. Мы предлагаем вам пост редактора русской газеты».

— А вы им и поверили, что большевизм погиб? — сказал Лопатин.

— Ни на одну секунду! — тряхнув головой, выкрикнул Зайцев так поспешно, что было совершенно ясно: поверил, да еще как поверил! — Но мне нужно было выбирать: или бессмысленно погибнуть или редактировать газету... Конечно, я виновен... Я признаю... Я должен был пойти на смерть, и я этого не сделал! Но я хотел сохранить себя для будущего. Я все видел своими глазами. Я могу теперь описать эти кошмарные дни немецкого владычества так, как никто... И потом, я все время надеялся, что тут, в подполье, остались наши силы, которые меня используют, раз я оказался на таком посту.

Эта неожиданно возникшая идея показалась Зайцеву якорем спасения, и он снова приободрился.

— Я даже ходил по улицам, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых, кому я смогу довериться и предложить помощь...

— Не встретили?

— Нет, к сожалению...

— Неужто вы всерьез хотите меня убедить,— сказал Лопатин,— что ждали, когда к вам, редактору фашистского листка, прибегут с поручениями подпольщики? Что они станут вам доверять? Я ваш ровесник, а вы мне лжете, как ребенку.

Зайцев обиженно вскинул глаза.

— Я говорю только, что я надеялся... Я не могу этого доказать...

— Хорошо,— сказал Лопатин,— допустим, что так, и перейдем к другой теме. Немцы сказали вам, что вы за свою литературную деятельность при Советской власти заслуживаете расстрела. Чем же именно вы его заслужили? Расскажите подробно, я вас не тороплю.

В течение получаса Лопатин терпеливо слушал удивительную историю, которая выглядела бы святой правдой, если б он не знал сам, и притом наверняка, что девять десятых в ней ложь. Это была история человека, с первых дней революции создававшего молодую советскую литературу. Оказалось, что всю гражданскую войну Зайцев провоевал на фронтах, потом выпустил несколько книг революционных стихов, первая из которых называлась «Красное зарево». Потом переехал в Москву по вызову РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей, на всякий случай пояснил он Лопатину). В те времена разгара нэпа еще немногие в литературе стояли на марксистских позициях, но он стоял на них, и ему пришлось, забыв о собственных стихах, без конца выступать, драться, писать боевые статьи. Кончилось все тем, что он свалился, заболел туберкулезом, переехал сюда, оторвался от большой работы, но и здесь в литературных кружках, в клубе моряков — всюду, где позволяло здоровье, активно пропагандировал советскую литературу, выступал с докладами, помогал начинающим... Словом, делал все, что мог.

Зайцев рассказывал, а Лопатин, слушая его, мысленно почти с математической точностью представлял себе ту, другую биографию, которую при обратных обстоятельствах Зайцев рассказывал немцам. По той, другой биографии, наверное, получалось, что он в гражданскую войну, к несчастью своему, оказавшись на территории, занятой большевиками, все-таки уклонился и не пошел в Красную Армию; что потом, во времена нэпа, он выпускал книги, встречавшиеся в штыки большевистской критикой, а когда кончился нэп и вообще стало нечем дышать, он уехал сюда, в глушь, ждать лучших времен и писать в стол стихи, при большевиках все равно бы не увидевшие света. Однако даже и здесь ему, заживо похоронившему себя поэту, пришлось добывать себе гроши на жизнь, разбирая безграмотные рукописи тех, кто, по его мнению, считал, что писателем можно стать, имея только нахальство и пролетарское происхождение.

Может быть, что-нибудь и не сходилось в деталях, но в общем Лопатин был почти уверен, что вторая зайцевская биография, рассказанная им немцам, выглядела именно так.

— Итак, вы решили принять на себя пост редактора? — сказал Лопатин, когда Зайцев наконец остановился.

— Да,— сказал Зайцев, обрадованный, что его ни разу не перебили.— Передо мной был выбор: жизнь или согласие. Я не нашел в себе сил сказать «нет» и погибнуть. В этом моя вина, но это единственная моя вина. Все, что я делал в газете, я делал с отвращением. У меня над душой буквально стояли с палкой, с револьвером,— поправил он себя.

— А это вы тоже под револьвером писали? — спросил Лопатин, вынимая из полевой сумки и разглаживая на столе номер газеты с передовой «Свобода творчества».

— Что, разрешите посмотреть? — приподнимаясь, сказал Зайцев и увидел лежавшую перед Лопатиным газету с передовой и литературной страницей. Уши его из розовых вновь стали багровыми, краска прилила вплотную к благообразной седине.— Да, это я писал,— сказал он, опускаясь. Он понял, что лгать бессмысленно и, глядя на Лопатина, торопливо думал: что сказать, чем оправдаться? Однако, судя по выражению его лица, ни одна спасительная мысль не приходила ему в голову.

— Стихи тоже ведь ваши? — спросил Лопатин.

— Стихи? — Зайцев инстинктивно хотел возразить: нет, стихи не мои,— но потом подумал, что стихи — как раз самое безопасное среди всего остального, и сказал: — Да, стихи мои.

— «Розовый ветер откинул любимые волосы. Розовый вечер растаял на влажных губах...» — вслух прочел Лопатин и поглядел прямо в глаза Зайцеву. — И ради того, чтобы самолюбиво напечатать эти стишки, вы готовы были свергнуть Советскую власть! Эх, вы, свободный поэт!

Должно быть, что-то в голосе Лопатина, когда он произнес эту фразу, показалось Зайцеву знакомым или навело его на какие-то глухие воспоминания. Он вздрогнул, пристально посмотрел на Лопатина, словно хотел содрать с его лица бинты, потом поморщился, стряхивая с себя наваждение, дернул головой и сказал, что стихи, как видит сам товарищ майор, совершенно аполитичные, просто лирические стихи, он специально выбрал такие, а передовая «Свобода творчества» написана действительно им, он не скрывает, но она написана по такому же прямому приказу, как и все остальное.

Он сам еще не знал, способна ли спасти его эта новая ложь, и лгал торопливо, не останавливаясь, как человек, бегущий по подламывающемуся льду.



Но Лопатин не гнал его дальше, и Зайцев вдруг остановился с разбегу. Наступила неожиданная пауза в допросе.

Лопатин молча сидел, то поднимая глаза на Зайцева, то опуская их на погромные абзацы его передовой и пытаясь представить себе, что было бы, если б фашисты действительно пришли навсегда и вешали коммунистов не только здесь, в Феодосии, а на всех фонарных столбах в каждом городе, до Урала и за Уралом, как еще недавно надеялся этот вот сидящий перед ним седой человек с розовыми ушами.

— Хоть бы набрались смелости, что ли! Сказали бы откровенно, что вы враг! Все-таки веселей было бы с вами разговаривать,— после долгого молчания хмуро сказал Лопатин.

— Я не враг,— быстро заговорил Зайцев,— я виноват, но я не враг! Я представляю известную культурную ценность и прошу только одного: чтобы вопрос о моей судьбе решался наверху, в компетентных инстанциях...

И тут началась бомбежка. Бомбы стали падать одна за другой на соседних улицах, все ближе и чаще. С каждой новой бомбой разрывы приближались к домику, и наконец его так тряхнуло, что Лопатину захотелось выбежать и лечь на землю. Должно быть, то же испытывал и продолжавший неподвижно стоять в дверях, заметно побледневший конвоир. Но и Лопатин и конвоир — оба чувствовали себя в этой комнате, перед лицом этого предателя частью Советской власти. А эта власть никогда и ничего не боялась. Лопатину было страшно, но нежелание, чтоб его страх заметил Зайцев, было сильнее самого страха. Следя за собой, чтобы не вздрагивать при близких разрывах, Лопатин продолжал, не шевелясь, сидеть за столом. Конвоир, поглядывая на него, тоже не двигался с места. Зато с Зайцевым творилось нечто невыразимое. Забыв о присутствии людей, оставшись наедине с самим собой и своими одинокими мыслями о смерти, он при каждом грохоте бомбы бесстыдно корчился от страха на табуретке и наконец боком сполз с нее на пол.

Лопатин крикнул ему, чтобы он снова сел к столу. Одинаково боясь и бомб и допрашивавшего его майора, Зайцев поднялся на четвереньки, не разгибаясь, как животное, подошел к табурету и медленно влез на него.

Стараясь держать себя в руках, Лопатин задал какой-то вопрос,— он потом сам не мог вспомнить, какой именно. В эту секунду раздался новый близкий разрыв, и Зайцев снова, на этот раз еще быстрей и бесстыдней, распластался на полу.

— Встаньте! — крикнул Лопатин.

Зайцев продолжал лежать.

Лопатин вскочил из-за стола и с неожиданной силой злости своей забинтованной рукой схватил Зайцева за котиковый воротник, приподнял и потащил к табурету.

— Ну, чего вы так боитесь? — спросил Лопатин, с трудом подняв Зайцева обратно на табурет и снова сев перед ним.— Ну, я, предположим, боюсь, что нас разбомбят, или он,— кивнул Лопатин на конвоира,— это еще понятно, мы с ним жить рассчитываем! И то не валяемся на полу! А вы-то чего боитесь этой бомбежки? Ведь вас все равно не завтра, так послезавтра осудят и расстреляют за все, что вы сделали! — Лопатин в ту минуту был глубоко убежден, что все именно так и будет.— Неужели же вам даже перед смертью не стыдно ползать, как червяку?!

И вдруг Зайцев произнес фразу, которую Лопатин сначала даже не понял, подумал, что ослышался.

— Я еще надеюсь, что оправдаю ваше доверие, товарищ майор,— заплетающимся от ужаса языком проговорил Зайцев.— Я еще заслужу... я заслужу...— лепетал он, ерзая на табурете.

Бомбежка, которая, казалось, никогда не кончится, прекратилась, как по команде. Наступила полная тишина. Часовой вынул из кармана платок, вытер пот и громко высморкался.

Лопатин встал. Зайцев тоже поспешно поднялся, огляделся, схватил с пола шапку и, держа ее в руке, уставился на Лопатина.

Он не знал, что его ждет дальше, и готов был любыми средствами продолжить нынешнее состояние, отделявшее его от будущего.

— Может быть, нужны еще какие-нибудь сведения, товарищ майор? — спросил он дрогнувшим голосом и вдруг выкрикнул: — Что вы хотите со мной сделать?

Лопатин заколебался, сказать или не сказать, но что-то, бывшее сильнее его сомнений, не позволило ему промолчать.

— Я ничего не хочу с вами делать, Николай Евгеньевич Зайцев,— сказал он,— и не хочу больше получать от вас никаких сведений, потому что я не следователь, а корреспондент, потому что я знаю о вас больше, чем вы сказали, потому что моя фамилия Лопатин, потому что я был дураком и не догадывался, кем вы можете стать...

— Василий Николаевич! — подавшись к нему всем телом, отчаянно крикнул Зайцев. По его лицу было видно, что он пропустил мимо ушей все, что сказал Лопатин; он понял только одно: перед ним знакомый человек, который может чем-то помочь, что-то переменить.— Василий Николаевич! — снова крикнул он.

Но Лопатин остановил его рукой и сказал тихо и зло:

— Я, к сожалению, корреспондент, но если бы я был судья, я бы знал, что с вами сделать!

И, сказав так, впервые за все время прочел в глазах этого столько времени жалко трусившего человека то выражение, которого все время ждал и искал в его глазах: в них наконец блеснула вспышка ненависти, короткая и свирепая.

— Отведите арестованного обратно,— сказал Лопатин конвоиру и отвернулся к окну. Он бы не отвернулся, если бы Зайцев продолжал смотреть на него с ненавистью, но Зайцев уже потушил эту вспышку, и рот его собрался в слезливую гримасу.

Дальнейшее Лопатин услышал уже спиной: натужный всхлип силившегося заплакать Зайцева, слова конвоира: «Ну, ну, поворачивайся! Сказали идти — иди!»,— поспешное шарканье бот и стук двери.

Лопатин вернулся в комендатуру лишь поздно вечером, обойдя за день весь город. Завтра ему надо было ехать на фронт, уже успевший удалиться от Феодосии; весь материал о городе он должен был собрать сегодня.

Но не только эти деловые соображения подгоняли его весь день. Он жадно смотрел, записывал, лазил по городу под непрекращавшейся бомбежкой, испытывая чувство неотвязного омерзения после разговора с Зайцевым. Он стремился развязаться с этим чувством, перебить его другими впечатлениями, но чувство не отвязывалось; оно было прилипчивым, как запах нечистот на подметке.

«На всю литературу за двадцать пять лет замахнулся,— снова и снова вспоминая зайцевскую передовую, с ненавистью думал Лопатин.— Не было ее, оказывается, без его розовых ветров и вечеров! Фашисты понадобились, чтобы восстановить в ней попранную справедливость».

От тягостных мыслей о Зайцеве Лопатина оторвали не дела и не опасности, а просто люди, хорошие, добрые, усталые и веселые лица людей, два дня назад бравших Феодосию и сегодня собравшихся вместе в морской комендатуре за новогодним товарищеским ужином.

За весь этот ужин, с его чувством скоротечного, но сильного и верного фронтового товарищества, с его короткими, порывистыми тостами, одушевленными и победой под Москвой и своим собственным десантом здесь, в Феодосии, Лопатин ни разу не вспомнил о двух омерзительных, хотя и закаляющих душу часах, проведенных им в кабинете Шаморикова с глазу на глаз с человеком, с которым они когда-то читали друг другу первые стихи в городе их общей юности.

Об этом ни разу за весь вечер не напомнил и сам Шаморйков, устало ввалившийся на новогодний вечер последним, без одной минуты двенадцать! И лишь уходя во втором часу ночи — ему некогда было засиживаться, а Лопатин оставался ночевать в комендатуре,— Шаморйков, надевая поверх ватника потертую кожанку, вдруг спросил Лопатина:

— Ну как, этот тип оказался тот самый, которого вы знали?

— Тот самый,— кивнул Лопатин.

— Завтра утром отправляю его на Большую землю,— сказал Шаморйков,— запросили.— Потом помолчал и с разочарованием в голосе спросил: — Так что ж, выходит, он все-таки в самом деле писатель?

Очевидно, Шаморикова убедило в этом то, что на Зайцева пришел запрос с Большой земли.

— Никакой он не писатель! — сердито сказал Лопатин.

— Это хорошо! — облегченно вздохнул Шаморйков, и за этим облегченным вздохом Лопатин почувствовал большое уважение к советской литературе, которое Шаморикову очень не хотелось нарушать неприятной мыслью, что бывают в ней и такие писатели, как Зайцев.

* * *

Вот о чем рассказал мне Лопатин в последнюю нашу встречу. Я восстанавливаю это по памяти, но память у меня хорошая.

— Дарю, берите, пока не раздумал,— сказал он, закончив свой рассказ и протягивая мне папку с газетами.

— А скажите,— поблагодарив и взяв папку, спросил я,— вот вы ответили Шаморикову, что Зайцев не писатель, ну, а если бы он был писатель? Если бы он был не бездарен, а талантлив, что тогда?

— Зайцев вначале был не вовсе бездарен,— возразил Лопатин,— но он постепенно и довольно быстро стал бездарным. Это ведь встречные процессы. Таланты обнаруживаются там, где их не ждут, и не обнаруживаются там, где их ждали.

— Это верно,— сказал я,— но бездарен, или почти бездарен, или не вовсе бездарен — я не о том; представим себе, что Зайцев просто-напросто талантлив и при этом все-таки сделал то, что он сделал, при тех же самых чрезвычайных обстоятельствах. Можете вы это себе представить?

— Мне не нравится само выражение «чрезвычайные обстоятельства»,— усмехнулся Лопатин,— оно похоже на скидку, а я на нее не согласен; при тех же самых чрезвычайных обстоятельствах, при которых Зайцев созрел до предательства, другие созрели до подвига. А насчет таланта, как вам сказать...

Лопатин несколько минут молчал, поводя из стороны в сторону своим длинным задумчивым лицом, словно сам безмолвно задавая себе вопросы и так же безмолвно отвечая на них.

— Как вам сказать?..— снова повторил он.— Мы знаем случаи, когда большой талант сам за волосы вытаскивает своего обладателя из потемок духа, даже из таких потемок духа, как контрреволюция. Есть почти у всякого настоящего таланта что-то такое, что трудно, во всяком случае, со скрипом, мирится с потемками. Но если этого нет,— добавил он,— то талантливый Зайцев, по-моему, хуже бездарного. И при чрезвычайных обстоятельствах и без них. И вообще,— сказал Лопатин уже твердо, как нечто хорошо продуманное и давно занимавшее его мысли,— вообще, если хотите знать, талант, после первых же обид готовый к самоотчуждению,— это ящик с дурными сюрпризами. Я не люблю в наше время непонятых талантов, презираю примирившихся с тем, что они не поняты, и ненавижу щеголяющих этим. Любит себя, не любит других, утешается тем, что его поймут в веках! А что его понимать? Дали бы ему полную волю — напечатал бы самую заурядную кухонную сплетню с блестками таланта и пудами грязи, вываленной на всех нас, грешных, и на нашу с вами Советскую власть. Мещанин с талантом — самовлюбленное и опасное животное!

Знаю я их,— неопределенно, но сердито махнув рукой, добавил Лопатин и вдруг посмотрел в сторону своего шкафа, беспорядочно, вкривь и вкось забитого пестрыми корешками изданий двадцатых годов, с таким выражением, словно увидел там, среди этих корешков, чье-то лицо.— Это вы, молодые, не знаете, а мы лично знакомы и премного благодарны!

Он снова помолчал и вдруг сказал:

— Я человек средних способностей, и всяко бывало в моей жизни: писал и лучше и хуже, иногда случалось, что ругали за хорошее и хвалили за плохое. Думаю, что



несколько раз в жизни зря царапнули по сердцу, но мне некогда было обижаться: я всегда жил с ощущением, что руки у меня одни, а дел, к которым их надо приложить, сотни! К чему я, собственно, это говорю, не знаю. Просто я очень люблю нашу литературу со всеми ее сложностями, и особенно люблю ее сегодня, на четвертом году войны. А сейчас вдруг на минуту представил себе торжествующего Зайцева. Передовые были бы о «свободе творчества», а пята железная, фашистская! — Лопатин сделал паузу и, улыбнувшись, сказал: — Приятно думать, что завтра летишь не куда-нибудь, а под Берлин. Как раз перед вашим приходом позвонили из редакции и сказали, что Зееловские высоты уже взяты.

— А о дальнейшей судьбе Зайцева вы так ничего и не знаете? — спросил я.

— А ну его к черту! — пожал плечами Лопатин.— Надеюсь, что этот Лель давно гниет в земле. Меня бы просто-напросто огорчило, если бы он пережил меня,— добавил он со своей чуть печальной улыбкой.

Вот та история, конец которой, как я уже сказал, сам пришел ко мне совсем недавно по почте. Я ушел заполночь, а Лопатин утром улетел и через пять дней погиб под Берлином.

Прошло двенадцать лет. Я и еще несколько друзей Лопатина стали собирать однотомник из всего лучшего, написанного им в разные годы жизни. В газетах промелькнуло сообщение о работе над этим однотомником с упоминанием фамилий составителей. А месяца через три ко мне пришло письмо с обратным адресом: «Фрунзе, до востребования, Н. Е. Зайцеву».

Прочтя первые же строчки письма, я убедился, что мне пишет тот самый Зайцев.

Он выражал свое глубокое удовлетворение тем, что справедливость торжествует и что наконец выходит однотомник Василия Николаевича Лопатина. (Кстати сказать, в данном случае справедливости торжествовать было незачем, просто в нас самих, старых товарищах Лопатина, восторжествовало наконец чувство товарищеского долга.) Но Зайцев писал именно о восстановлении справедливости, и через несколько абзацев письма мне стало понятно, почему. Восстановление справедливости по отношению к Лопатину нужно было ему как риторическая фигура для последующего: он писал, что мы, люди, восстановившие справедливость по отношению к Лопатину, вызвали в его сердце надежду, что будет восстановлена справедливость и по отношению к такому человеку, как он, свято чтящему память Лопатина и с юношеских лет связанному с покойным самой тесной дружбой. Далее он писал, что их дружба с Лопатиным — это не слова, что они некогда вместе начинали и он даже посылает мне титульный лист книги, которую в знак дружбы в свое время подарил ему Лопатин.

В конверт действительно был вложен пожелтевший титульный лист одной из первых очерковых книг Лопатина, «Памир», с надписью, гласившей: «Дорогому Коле Зайцеву в знак дружеских чувств и в память о том, как мы вместе начинали». Надпись, так же, как и книга, была датирована двадцать пятым годом. Когда я прочел ее, мне стало обидно за Лопатина, хотя в надписи не было ничего особенного, да и что другое мог написать он Зайцеву тогда, в двадцать пятом году?

Упомянув об этой надписи, Зайцев излагал существо своей просьбы.

«Вы знаете,— писал он,— и не мне, и не вам объяснять, сколько несправедливостей было совершено в годы нарушений социалистической законности. Я жертва одной из них, но, к сожалению, мой срок отбытия незаслуженного наказания окончился раньше, чем я сумел добиться правды. После пятнадцати лет заключения я вернулся на свободу лишь в декабре прошлого года. Я не прошу хлопотать о моей реабилитации, для этого вы меня слишком мало знаете, я займусь этим сам. Но пока что положение мое, человека пишущего и готового отдать все оставшиеся еще силы литературе, является унизительным. То, что я был в заключении, тяготеет надо мной, и мне даже здесь, где я оказался, не хотят предоставить литературной работы, отвечающей моим литературным возможностям. Я прошу вас в память Василия Николаевича Лопатина сделать для меня, теперь уже старого литератора, посильную услугу: написать в редакцию местной газеты, чтобы там с вниманием отнеслись к некоторым моим произведениям, которые я хочу им предложить, и дали мне возможность употребить свои силы в качестве консультанта для помощи молодым и начинающим авторам; в редакции есть соответствующая вакансия. Если бы Вася Лопатин — я и сейчас, много лет спустя после его смерти, мысленно зову его так — был жив, я бы, конечно, не затруднял вас, а написал прямо ему, и он, бросив все, сел бы в самолет и прилетел помочь мне. На это я, разумеется, не претендую, но минимальной помощи, в виде письма в редакцию, прошу и жду от вас...»

Я два раза перечел это письмо, перечел надпись на титульном листе книги Лопатина: «Дорогому Коле Зайцеву в знак дружеских чувств» — и с тревогой подумал о том, как легко спекулировать на мертвых и как, не зная всего, что я знал, я бы, чего доброго, сгоряча написал в редакцию газеты именно то, чего ждал от меня Зайцев.

Я вытащил так и пролежавшую у меня двенадцать лет папку, подаренную в тот последний вечер Лопатиным, и вынул знакомый номер газеты с передовой «Свобода творчества», подписанной инициалами «Н. З.». Положив передовую рядом с письмом Зайцева, я перечел подряд то и другое и лишь после этого сел писать ответ.

Каким он был, нетрудно догадаться. Я написал Зайцеву, что действительно в былые годы было совершено много несправедливостей и нарушений революционной законности, но что его письмо лишний раз напомнило мне о том, о чем некоторые из нас сейчас готовы забыть,— о том, что, кроме несправедливостей, была и справедливость, что, кроме нарушений революционной законности, бывало и соблюдение ее. И как раз пример этого — все случившееся с ним, Зайцевым.

Я написал ему, что его идея через двенадцать лет после смерти Лопатина в бесчестных целях воспользоваться давней и еще при жизни покойного зачеркнутой жирным крестом дружбой — идея подлая, но неглупая, и я, наверно бы, попал на эту удочку, если б Лопатин незадолго перед смертью совершенно случайно не рассказал мне о той встрече в Феодосии, о которой он, Зайцев, знает лучше меня.

Я написал Зайцеву, что преступления перед Родиной смывают кровью, трудом, жертвами во имя ее. Бывает все, не бывает только одного: ложь не сочетается с раскаянием. Человек, который действительно раскаялся, не утверждает, что он был невиновен, и не берет мертвых в лжесвидетели своей правоты.

«Поэтому,— писал я,— я считаю, что ваша передовая «Свобода творчества», со всем, что в ней было написано, и сейчас по-прежнему духовно принадлежит вам, хотя вы в этом никогда не признаетесь».

«Вам надо есть и пить,— писал я,— и, очевидно, для этого вам надо где-то служить. Это я понимаю. Но если я когда-нибудь услышу или прочту о том, что вы пишете письма начинающим советским литераторам и подаете им отеческие советы, я выну из своего письменного стола вашу передовую «Свобода творчества» и несколько абзацев из нее пошлю для сведения в ту редакцию, которая разрешит вам у себя подвизаться. Я сделаю это в память того самого Лопатина, чьим именем вы так забывчиво клянетесь. Когда-то он сказал мне, что ему было бы обидно, если бы вы пережили его. К сожалению, случилось именно так, и я не в состоянии это исправить. Но если вы с его именем на устах снова попытаетесь вползти в литературу, я постараюсь помешать вам».

Ответа на это письмо я, как и ожидал, не получил. Допускаю, что Николай Евгеньевич Зайцев, получив мое письмо, переменил адрес.

Передовая «Свобода творчества» на всякий случай лежит у меня в столе. Поживем — увидим!

Солдатские дороги

Марк ШЕХТЕР

ВОСПОМИНАНИЕ

Я отыскал пилотку в сундучке,
Зеленые армейские погоны —
И вспыхнул
день на подступах к реке:
Пожарища, разбитые вагоны,
Часы на кровью залитой руке
И снова перегоны, перегоны...
Закрыв сундук, я говорю себе:
Еще в окно не постучалась старость,
Еще ты жив, еще весь мир в борьбе,
Еще свершиться многому осталось!

ИДУТ В ЛАГЕРЯ

Полк уходил.
И город южный
До сентября прощался с ним.
Шли эскадроны с песней дружной
Под красным знаменем родным.

И звонко цокали копыта,
Бежали дети у стремян,
И дипломат глядел сердито —
Пришелец из заморских стран.

Пока он в номере отеля
Строчил депеши до шести,
Донцы упрямые успели
Верст сорок с гаком в ночь пройти.

Им сладко было на привале
В короткий погрузиться сон,
А сэру мысли спать мешали,
О нашей славе думал он.



Московская фабрика № 9. Конвейерный цех ремонта обуви. Фото Р. Лихач.

На сапожные темы

С. СИНЕЛЬНИКОВ

Необычное предприятие строится сейчас в Москве, неподалеку от Рижского вокзала. Уже возведены все пять этажей кирпичного здания, прибывает оборудование. Это будет крупнейшая в стране фабрика по ремонту обуви. Доставляемая сюда из приемных пунктов, обувь на конвейерных линиях будет попадать во власть множества умных, безошибочно действующих машин и агрегатов. Почти полная механизация всех видов ремонта позволит четыремстам рабочим добротно обновлять в год 1,2 миллиона пар ботинок, туфель, сапог, бот, валенок...

Подобные фабрики, оснащенные новейшей техникой, у нас до сих пор не сооружались. А сравнительно небольшие конвейерные линии появились в последнее время. Они имеются в Москве, Ленинграде, Свердловске, Новосибирске и десятках других городов. На каждом конвейере чинят ежегодно свыше 60 тысяч пар обуви, и в значительной мере с помощью сложных машин. Операции, которые пока все еще выполняются вручную, постепенно механизируются. Так, ленинградский завод «Вперед» изготовляет новую машину для пристрочки подметок к ранту. Запущен в производство своеобразный механизм для крепления подошвы и набоек металлическими гвоздями.

Но все это — только начало.

В подавляющем большинстве случаев обувь пока чинят по старинке. Я в шутку спросил в Туле пожилого мастера, многое ли изменилось со времен чеховского Ваньки Жукова. Ответ был неожиданный:

— Мы не бьем учеников селедкой по морде. Наоборот, за ними ухаживают, им платят стипендию... А остальное, что же, все оно было и у моего деда. — И мастер показал на свои инструменты.

В затянувшейся и медленно изживаемой кустарщине кроется одна из причин того, что простейшее дело — хорошо починить пару ботинок — подчас становится затруднительным.

Оправдания этому нет

Ремонт обуви примерно на восемь десятых сосредоточен в промкооперации, а она к началу нынешнего года имела лишь 16 тысяч сапожных мастерских. Мало! Ведь в стране насчитывается более 4 тысяч городов и поселков городского типа, более 50 тысяч сельсоветов. Между тем ремонтная сеть ширится слабо. Почему? «Трудно с помещениями, особенно в городах», — отвечают работники промкооперации.

Правительство, заботясь о нуждах населения, постановило: в новых домах обязательно отводить часть метража под бытовые предприятия, в том числе сапожные мастерские. Но это постановление далеко не везде выполняется. Например, в Ярославле за последние годы построено много домов, и все же ни в одном из них нет сапожной мастерской. Два с лишним года назад Красноярску выделили оборудование для механизированной конвейерной линии, нужной городу позарез. Понадобилось триста метров площади, и работники горсовета, крайисполкома не поскупились на обещания. Однако обещания остались на бумаге, конвейер не пущен поныне. То же произошло в Вологде.

Коль скоро с помещениями так туго, то, естественно, нужно распределять их, строго учитывая реальные потребности. Фактически же сапожные мастерские открывают в городах порой где попало, хаотически. Даже Москва не может служить образцом для подражания. Пройдитесь по небольшой Школьной улице и увидите три мастерских подряд, словно вокруг обитают одни футболисты, почтальоны или туристы-пешеходы. Теперь совершите прогулку по Садовому кольцу, от Смоленской площади к Садово-Спасской и до самой Таганки: на всем этом почтительном расстоянии отремонтировать обувь негде. Обследование, проведенное ЦСУ — Центральным статистическим управлением при Совете Министров СССР, — выявило, что повсеместно сапожных мастерских всего меньше на окраинах городов, в заводских и рабочих поселках.

Кое-где нехватка мастерских и хаотическая их разбросанность возмещаются тем, что промкооперация сооружает павильоны облегченного типа. Артель «Новая заря» в Ярославле решила открыть такой павильон на центральном рынке, где ежедневно бывают сотни домохозяек. Не позволили: «Сапожничать в неблагоустроенном павильоне? Нельзя. Вы разведете антисанитарию!» А кустарю-одиночке не помешали открыть на рынке «предприятие», не блещущее, конечно, какими-либо новинками санитарной техники.

Встретила артель отказ и в другой раз, когда наметила построить приемный пункт на углу улицы Кирова и Депутатского переулка: «Нельзя! Павильон нарушит архитектурный ансамбль!» Теперь на том самом месте красуется сколоченная на скорую руку хибарка кустаря-одиночки, которую к достопримечательностям города никак не причислишь.

«Тришкин кафтан»

Мне привелось побывать в сапожных мастерских Москвы и Подмосковья, Тулы и Ярославля. Сколько наслышался я там справедливых претензий! Какими только попреками не испещрены книги жалоб! Действительно, обувь чинят долго и, мягко выражаясь, не всегда хорошо, а кое-каких заказчиков, если не говорить о Москве, вовсе выпроваживают ни с чем из-за отсутствия кожи и других материалов.

Поначалу создается впечатление, будто все мастерские — за редкими исключениями — работают недобросовестно. Но это впечатление обманчиво. Чем же тогда вызваны претензии и жалобы?

Попробуем разобраться. Выслушаем хотя бы председателя правления той же ярославской «Новой зари» А. А. Игрунина.

— После того, как у нас оборудовали конвейерный цех, мы стали работать получше, хотя хвастать пока нечем. Многие заказчики недовольны. Но надо бы и нас понять. Не знаю, как это произошло, только всюду к ремонту обуви относятся с такой прохладцей, что и передать не могу. Возьмите снабженческие организации. Там считают, что обувь надо чинить третьесортными материалами, всякими заменителями и бросовыми отходами. Неверно это! Посмотрите, что мы чаще всего ремонтируем: самые изнашиваемые детали — подметки, набойки, союзки. Стало быть, и



материалы тут нужны всегда наилучшие. А что мы получаем? Я работаю тут с девятьсот сорок девятого года, и за все время не было такого квартала, когда бы кожи было вдосталь. Да и товар какой! Вот для ремонта верха обуви нам дали бракованные рукавицы. С жестким товаром для подметок еще хуже. Его не хватает даже для детской и модельной обуви. И качество никудышное, хоть возвращай ту кожу обратно. Но другой не дадут, а план надо выполнять.

— Но дело ведь не только в прохладном отношении к ремонту...

— Знаю, — не сдается собеседник. — Хорошая кожа идет в обувную промышленность. Верно, выпуск обуви надо увеличивать. Но, по-моему, снабженцы латают «тришкин кафтан». Раз кожи мало, то надо делать все, чтобы люди могли носить свою обувь подольше, а мы берем и сокращаем сроки носки. Из-за плохого ремонта людям приходится раньше времени покупать новую обувь. Вот и создается ненормальный, завышенный спрос на нее. Стало быть, обувная промышленность часть своей продукции дает на то, чтобы покрыть результаты неполноценного ремонта.

Подобно многим сапожникам, председатель правления убежден, что снабженческие организации понапутали не только с кожей:

— Поговорите с любым сапожником, он вам скажет: «Эх, достать бы пожарный рукав!» Эти рукава сделаны из льняной ткани. Когда пожарные выбрасывают какой-нибудь шланг, отслуживший свой век, сапожнику радость. Он понадергает ниток и припасет себе льняной дратвы...

Так оно и есть. Мне еще раньше рассказывали о хитроумном комбинаторе поневоле, который однажды съездил в Арзамас и накупил там льняные рыбосасывающие рукава, применяемые на траулерах. В сапожных мастерских эти изделия расплетали на дратву. И удивляться нечему. Хорошей льняной дратвой ныне обеспечены только конвейерные линии. Повезло и тем сапожным артелям, которые соседствуют с льнокомбинатами: как-никак, а не откажут в отходах. Остальные довольствуются весьма нежными заменителями, слабыми на разрыв и не терпящими ни трения, ни влаги.

— Как же тут винить сапожника, если только что пришитая подметка сразу расстается с ботинком?.. — продолжает возмущаться Игрунин. Не уживается иногда с ботинком и такая подметка, которой игла и дратва даже не касались: ремонт производили клеевым способом. Способ этот очень хороший, что и говорить. Ведь промышленность вырабатывает теперь такие сорта клея, которые навеки скрепляют металл с металлом, не то что кожу. Но сапожников держат на голодном пайке. Самого лучшего для кожи гуттаперчевого клея дают вчетверо меньше, чем нужно.

Большой счет предъявляют различным организациям артели по ремонту обуви. Но это не значит, что сами они уже исчерпали свои возможности.

Когда знакомишься с сапожными мастерскими, удручает, кроме всего прочего, инертность работников промкооперации. Многие из них примирились с кустарщиной и застарелыми недугами.

Кое-где сапожники не имеют... деревянных колодок. Поставляет их мастерским промкооперации РСФСР ее же артель «Новая сила» в городе Тутаеве, Ярославской области. Будучи в Ярославле, я попросил облпромсовет связаться с артелью. Через несколько минут состоялся такой телефонный разговор:

ОБЛПРОМСОВЕТ. Что мешает вам увеличить производство колодок?

АРТЕЛЬ. У нас всего один деревообрабатывающий станок.

ОБЛПРОМСОВЕТ. Вы ведь получили наряд на второй станок.

АРТЕЛЬ. Мы за ним посылали представителя в Краснодар, но только зря деньги потратили: станка нам не дали.

ОБЛПРОМСОВЕТ. Почему?

АРТЕЛЬ. Роспромсовет что-то напутал.

ОБЛПРОМСОВЕТ. А если получите станок, все уладится?

АРТЕЛЬ. Нет, нам нужно пять станков.

Показателен и другой пример. В промышленном городке Гаврилов-Ям, районном центре с двадцатитысячным населением, нельзя как следует починить резиновую обувь, самую ходовую весной и осенью: нет горячей вулканизации. Ради починки пары бот приходится ездить—притом дважды, конечно, — в соседнее село Великое, тратя время и деньги на путешествие в грузо-пассажирском маршрутном такси. Съездил туда и я, спросил в мастерской:

— Почему бы не открыть вам приемный пункт в Гаврилов-Яме?

— Директив нет, — ответили, — а сами не догадались.

Мастерская хорошая. Работают здесь умелые, потомственные сапожники, население хвалит их. Но они не загружены полностью.

— Почему бы вам не обслуживать близлежащие села?

— Директив нет, в плане не указано...



Забытая фигура

Очень мешает, особенно промкооперации, нехватка сапожников. Тем не менее к подготовке их относятся не слишком серьезно. Кое-где действуют профтехшколы и курсы, но они капля в море. Организованного набора учеников нет. При этом промкооператоры жалуются: выискивать юношей, желающих стать сапожниками, едва-едва удается. Кругом, мол, столько отличных возможностей, и мало кого привлекает традиционная «липка» да коротконогая табуретка.

Практически в ученики идут те, кто близ своего дома не нашел чего-либо подходящего. Обучают их обычно как в старину: поодиночке или группой подсаживают на несколько месяцев к мастеру. А дальше? В небольшой мастерской нам рассказали, что за год здесь подготовили пятнадцать толковых пареньков и радовались: будет подмога! Но, получив разряд, все пареньки дружной компанией поспешили в областной центр и начали обучаться на... токарей.

— Наш брат сидит теперь не на «липке», а на ветке, глядит, куда бы ему упорхнуть, — сформулировал молодой подмосковный сапожник, решивший сменить профессию.

В чем дело? Крайняя неупорядочность оплаты труда, порой такие санитарно-гигиенические условия, о каких уже позабыли на советских заводах и фабриках,— вот что гонит многих, и не только молодежь, прочь с «липки».

Но дело не только в этом.

Вернемся ненадолго в село Великое. Это сапожный край, если можно так выразиться. Сапожное ремесло коренные жители любят исстари. А в мастерской, о которой уже говорилось, никто не находит удовлетворения в труде.

— От дедов, от отцов идет у нас сноровка, и для того ли сызмальства старались, чтобы поставить этакий ляпок,— сокрушается пожилой мастер, показывая почти новый ботинок: черный кожимитовый косячок и в самом деле выглядит «ляпком», кляксой на желтой подошве из микропористой резины. — Микропоры, и то нету. Срамота одна!

Тоскуют искусники по настоящей работе, позволяющей проявить свое мастерство, которое они из скромности называют сноровкой. Без нее нет и радости в труде.

А еще в душе каждого заправского сапожника таится обида: забыта, принижена его профессия. «Сапожник!» — слово это стало синонимом низкого качества, неумелых рук.

Видимо, еще не выветрились представления старых времен, когда сапожник был последним человеком в городе и деревне. Это, конечно, коробит мастеров, как признался один из них, увольнявшийся при мне из артели в быстрорастущем подмосковном городе.

— Брат зовет на завод, подучусь и тоже заделаюсь фрезеровщиком. В одном доме живем, а жизнь разная. У него клуб, всякие кружки, учеба, почет и уважение, а у нас что? — сбивчиво пояснял парень свое намерение получить новую профессию, войти в другую среду. — В кино, если у механика не ладится с аппаратурой, все кричат: «Сапожник!» Хотят кого подковырнуть, будь он хоть инженер, тоже скажут: «Не инженер, а сапожник!» Или такое слышишь: «Пьет, как сапожник».

Надо отметить, что совсем иные настроения у тех, кто занят на механизированных конвейерных линиях. И ясно, почему: сапожники здесь становятся индустриальными рабочими.

Круглые суммы

Десять иногородних жителей запросил я, где они чинят обувь. Все десятеро написали: у «частников», имея в виду некооперированных кустарей-одиночек и тех, кто занимается ремеслом на дому, так сказать, неофициально.

Склонный к юмору ленинградец-доцент в своем письме ограничился одной фразой: «Для меня лично хороший сапожник в мастерской, все равно, что домовой, о котором слышу с детства, но которого ни разу не встречал». За этим последовала приписка жены доцента: «Не волнуйтесь за нас. В соседнем доме проживает знаменитый Лукич, член артели сторожей. После дежурства он чинит обувь. Я очень им довольна, если не считать того, что Лукич любит круглые суммы».

Специалисты считают, что в среднем человеку надобно чинить обувь дважды в году. К этому выведенному из практики показателю едва-едва приближаются только Москва и Ленинград. В остальных городах картина пестрая и малоутешительная. То, с чем не справляются мастерские, выполняет за них некооперированный кустарь.

Это подтверждается и упоминавшимся обследованием, проведенным ЦСУ. Статистики проанализировали бюджет многих рабочих семей. Выяснилось, что в обследованных семьях РСФСР, Белоруссии, Молдавии около двух третей затрат на ремонт и пошив одежды и обуви попадает в карман к частнику, в Латвии и Эстонии — лишь немногим поменьше. На Украине и в Казахстане частник поедает почти три четверти сумм, расходуемых трудящимися на эти цели, а в других союзных республиках — львиную долю.

К стыду нашему, частник преуспевает не только там, где нет сапожных мастерских, но и соседствуя с ними. У него почему-то всегда найдется кожа, и заказ он выполнит, как правило, быстро и хорошо. А идут-то к нему поневоле, без радости: он ведь почти за все берет втридорога. Впрочем, и в ремонтных мастерских починка обуви тоже стоит недешево, притом расценки устанавливаются подчас произвольно, и резервы снижения их, очевидно, значительны.

* * *

За советские годы население страны в ее современных границах возросло округленно на 25 процентов, а выпуск кожаной обуви увеличился вчетверо с лишним. Все же запросы растут, опережая выпуск обуви. В ближайшие годы, когда пойдет в гору животноводство, резко повысится, разумеется, и выработка кожи. Но даже тогда нельзя будет пренебрежительно относиться к ремонту обуви: как гласит пословица, бережливость лучше прибыли. А ныне — тем паче.

Пора избавить советских людей от излишних хлопот с починкой обуви. Вернейший путь к тому — усиленная индустриализация сапожного производства. Пасынок современной техники, это производство по праву ждет внушительного вклада научно-исследовательских институтов. Промкооперация сама не справится с массовым выпуском машин ни для конвейерных линий, ни для обычных мастерских, и государственное машиностроение должно, видимо, помогать ей гораздо активнее, чем до сих пор. Надо полагать, что плановые органы и совнархозы скажут свое веское слово. Что касается промкооперации, то она явно нуждается в притоке энергичных, культурных сил.

Янош Блашки.
Венгрия.
МЕТАЛЛУРГИ.



Эль Нахас Мохаммед Камель.
Египет.
ГОРА ТРАБЕЛЬ В ЛИВАНЕ.



Джек Джанария. Индонезия. БАЛИЙСКАЯ ДЕВУШКА.

Солдаты революции



Из добрых и справедливых рук революции, партии, Советской власти получают помещичью землю герои нового романа украинского писателя Михайло Стельмаха «Кровь людская — не водица», крестьяне-бедняки села Новобуговка. И радость и тревога одновременно волнуют человеческие сердца. Словно растревоженный рой, гудит людская толпа над просторными полями Подолья; одни восхищенно осматривают небывалые еще в их жизни наделы, другие обозначают вешками новые межи, третьи уже трудятся над вновь обретенным богатством — пашут на худеньких клячонках под зябь только что выделенную комитетом бедноты землю.

Земля... Единственное обиталище человека, вечный источник его жизни и благосостояния, источник его мирных трудовых радостей и его величайшего горя, кровавых распрей, лютой злобы, несправедливостн...

Михайло Стельмах. Кровь людская — не водица. Роман-газета. 1957. № 11. 104 стр.

В новом романе М. Стельмаха в живых образах раскрывается революционность крестьянской массы, предстают картины первых лет революции, уничтожившей неправедные земельные законы и провозгласившей новую жизнь на земле. Земля наконец перешла в руки людей, которые из поколения в поколение поливали ее своим пòтом и кровью, обрабатывали ее, оставаясь темными, забитыми, голодными... Теперь пришел их праздник! И взволнованные, изумленные, растроганные люди прямо на полях празднуют великое торжество справедливости.

Густой туман ложится на землю, скрадывая очертания деревьев и хат, когда, закончив работу, Тимофий Горицвит возвращается домой с сыном Дмитром, тихим и работящим — в отца—подростком... Вся в лунном свете купается родная земля, как никогда прекрасная, своя теперь, впервые в жизни своя!.. Но совсем уже недолго остается Тимофию ходить по ней, радоваться ей. Не простят ему кулаки того дня, когда по указу Советской власти начал он перемерять их наделы. Только один раз еще встретимся мы с Тимофием Горицвитом. И опять будет серебриться под луной дымящаяся туманами лента Буга, опять все будет радостно волновать душу простого человека в этот последний в его жизни вечер. Растревоженное крестьянское сердце преисполнено величавых дум, теплые и ласковые мысли, обращенные в будущее, рождаются у него: «Распашем тебя, поле, засеем! Не зерно, сердце свое вложим в тебя, чтобы уродило ты нам счастье, чтобы не было больше на свете нищих да убогих, чтобы не гнало ты своих тружеников на край света за копейкою, за горьким куском батрацкого хлеба...» Всем существом принимал Тимофий землю, выделенную ему по закону Ленина.

Жестокая, смертельная борьба кипит на Подолье. Потоками крови заливают землю озверелые петлюровцы, бесчисленные бандитские, кулацкие шайки. Кажется, все, что есть на земле темного, неправедного, поднялось против людей, заново устраивающих свою жизнь, светло и чисто радующихся этой жизни. Зверски убиты кулаками синеглазый, добрый, смелый Василь Пидопригора, полный большой душевной красоты, молчаливый Тимофий Горицвит.

Нет, не легко, не просто достаются людям земля, новые, справедливые законы. Ценою великих жертв утверждают трудовые люди великие законы революции... И как справедливый приговор народа, как вещее предсказание темным силам звучат в книге слова скорбной бесхитростной песни:

Кровь людская — не водица,
Проливать нам не годится...

Солдатами революции рисует М. Стельмах простых людей — народ, вставший на борьбу по зову партии. Будучи органической частью известного романа «Большая родня», книга «Кровь людская — не водица» показывает судьбы всего украинского народа. И радостно отметить, что писатель набирает новые силы, рисуя эпические, исполненные истинного величия, достоверные человеческие судьбы Тимофия Горицвита, Свирида Мирошниченка, их друзей и соратников... Живой прелести полны образы Левка и Настечки, детей Свирида. И, подобно самому будущему, встает во весь рост со страниц яркого, глубоконационального повествования привлекательная фигура славного подростка Дмитра Горицвита. Ему предстоит завершать дело отцов, строить коммунистическое завтра. Ради этого завтра борются, утверждая жизнь и побеждая смерть, солдаты революции — трудовой народ, великая сила партии.

Н. ТОЛЧЕНОВА

Поэзия родных полей

«Изба и поле» — так называется новый сборник стихов Дмитрия Климова.

«Что может рассказать нам автор о поле и о крестьянской избе?» — подумает иной читатель, взглянув на обложку этой книги. В самом деле, не слишком ли узким кругом избы и поля ограничил себя поэт?

Стихи Дмитрия Климова открывают перед нами целый мир глубоких привязанностей, чувств и настроений. Перед читателем вдруг открываются картины как будто и знакомые, но озаренные свежестью поэтического восприятия. Тут и галка, что в дымчатом платочке ходит возле бороны, и синий звон колокольчиков льна...

Но самое-то главное, чему посвящена книжка стихов Дм. Климова,— это наш, советский человек, хозяин избы и поля, творец новой жизни, человек, который говорит о себе:

Выйду в поле.
Сплошной стеной
Над дорогою встала рожь,
В грудь вливается
Запах льняной,
И овес за прудом хорош...

Вишни дремлют,
Листвой шурша.
Слышен всплеск золотого
линя.
Чувством теплым согрета
душа —
Целый мир за окном
у меня.

Целый мир! Ведь в том-то и смысл величайших революционных преобразований нашего времени, что перед взором пахаря-хлебороба открылся целый мир, возвышающий, облагораживающий человека труда. И поэт, чувствующий значительность этих преобразований, идет в ряду строителей новой жизни.

В сборнике Дм. Климова, к сожалению, встречаются и недостаточно отработанные строчки. Но общее впечатление, которое испытываешь по прочтении книжки «Изба и поле», отрадное. Она обогащает нас живыми картинами русской природы, показывает человека здорового, сильного и счастливого своей влюбленностью в жизнь, смысл которой — деяние.

Дмитрий Климов. Изба и поле. Стихи. Изд-во «Советский писатель». Москва. 1957. 119 стр.

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

В СТРОЮ КОММУНИСТИЧЕСКОМ...

Впечатления юности нередко надолго определяют творческую биографию поэта, его интересы. Так произошло и с Дмитрием Петровским. Участник гражданской войны на Украине, лихой партизанский конник, он настолько был захвачен романтикой борьбы за победу нового строя, что уже не мог не писать о ней. И когда в 1925 году вышла его первая книга, «Повстанья», было ясно, чему поэт отдал свое сердце. До последнего дня он оставался «сыном поколенья отважных героев, бойцов, подымающих жизнь». В новый сборник избранных произведений поэта входит лучшее, созданное поэтом за тридцать лет работы.

Дм. Петровский. Избранное. Гослитиздат. Москва. 1957. 679 стр.

Поэт обращается к масштабным событиям истории, когда «по законам вольной песни шел и отдых и поход». Романтика революционных схваток, требующая от человека готовности к подвигу и самопожертвованию,— вот главная тема стихотворений Петровского.

Я шел в строю
коммунистическом,
Шагал чрез рвы плечо
с плечом
Дружины Мира
героической...

В сборнике много стихов о гражданской войне. В них слышатся походные марши «червоных казаков», топот копыт, звяканье сабель, посвист пули.

Проходят годы, оттачивается мастерство поэта, но его по-прежнему влекут к себе героические образы прошлого и настоящего, героизм борцов республиканской Испании, «не ведающее конца бессмертие» Бетховена, свободолюбивый дух «восставшего Байрона». Особенно страстно звучит эпическая песнь поэта в годы Великой Отечественной войны.

Характерно для Петровского стихотворение «Песня», где говорится о высоком назначении поэзии и как бы подводится итог жизни:

Знай, и в подвиге
Отчизне
Песней отдана душа...

С полным правом можно отнести эти слова и к самому поэту, солдату «дружины Мира героической», который воспевал завоевания революции. Он заслужил о себе добрую память.

С. НИКОЛАЕВ.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Кажется, только вчера праздничная, залитая солнцем Москва встречала посланцев пяти континентов земного шара, делегатов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Слышались слова приветствия, песни. По Крымскому мосту, стальным кружевом нависшему над Москвой-рекой, юноши и девушки в красочных национальных костюмах спешили в Парк культуры имени Горького, где на фоне темно-зеленой листвы и голубого неба пестрели флаги над павильонами Международной выставки изобразительного и прикладного искусства. В ней приняли участие молодые художники 54 стран мира. В больших павильонах было экспонировано около 4 500 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства самых различных направлений и жанров. Выставка вызвала огромный интерес у наших зрителей. В павильонах с утра до поздней ночи толпился народ.

Для делегатов фестиваля из капиталистических стран все было ново: та огромная популярность, которой пользовалась Международная выставка у москвичей, живой интерес наших зрителей, непосредственность восприятия, искреннее желание разобраться в путях развития современного искусства и то большое значение, которое придают партия и правительство вопросам, связанным с изобразительным искусством.

Зарубежные художники были просто поражены всем тем, что предоставлено в нашей стране работникам искусства: организация выставок, государственные заказы, командировки и дома творчества, в которых художники живут и работают. Обо всем этом говорилось в личных беседах во время встреч в Международной студии, устроенной в одном из павильонов выставки по инициативе молодых московских художников.

На выставке рядом с произведениями реалистическими висели картины художников абстрактного направления.

Подавляющее большинство наших зрителей воочию убедилось, что абстрактное искусство бесперспективно, что единственный путь — это путь реалистического искусства, опирающегося на лучшие традиции мирового искусства.

Многие художники капиталистических стран, преодолевая влияния беспредметного искусства, тянутся к реалистической форме. К их числу принадлежит английский художник Артур Хавкин, автор картины «Ку-клукс-клан». Уже обращение к такой теме характеризует его как человека, живо откликающегося на острые проблемы времени.

Вот они, атрибуты американской цивилизации: белые манжеты, выглядывающие из-под модного костюма, машины новейших марок, полиция на мотоциклах и веревка, накинутая на шею негров!

Картина венгерского художника Яноша Блашки «Металлурги» отличается большим оптимизмом. Молодые рабочие, отдыхающие в обеденный перерыв,— это хозяева земли, строители новой жизни. Сколько в них уверенности в своих силах, жизнерадостности, молодого задора!

Огромный интерес вызвало у наших зрителей искусство стран Востока, недавно освободившихся от колониального рабства и борющихся за свою свободу и независимость: Индонезии, Египта, Сирии. Молодые художники-реалисты в своем творчестве следуют лучшим национальным традициям, их произведения рассказывают о жизни народа.

VI Всемирный фестиваль оставил неизгладимый след в сердцах многих юношей и девушек. Зарубежные художники во время дискуссии, состоявшейся в фестивальные дни, выразили желание и в дальнейшем не порывать дружеских связей, творчески обогащающих молодых художников. Было выдвинуто предложение, единодушно одобренное всеми, устраивать ежегодные молодежные международные выставки, продолжить работу в Международной студии, издавать журнал, в котором бы освещались вопросы современного мирового искусства. Все это продиктовано желанием дружить и жить в мире.

А. ПЛОТНОВ



В катакомбах идет чистка оружия. Зарисовка неизвестного художника-партизана.

Это было в Одессе...

И. ИРОШНИКОВА

ВОВА НИЦЦАК

К осени сорок второго года подпольщики располагали людскими силами, запасами оружия и нуждались в надежной базе укрытия. Как базу решено было использовать Молдаванский участок катакомб.

— Задача ставилась так, — рассказывал Дроздов, — действовать на поверхности, в случае же грозящей опасности уходить под землю. Там никто не возьмет.

Но все известные выходы были уже обнаружены немцами, заминированы, закрыты...

Кто-то из подпольщиков выяснил, однако, что в районе Головковской и Картамышевской должен быть как будто еще не раскрытый вход.

Решили провести разведку среди жителей этих улиц.

— Но прежде я должен рассказать вам о Вове, — говорил Дроздов. Мы бродили с ним по тенистым аллеям Сенного скверика. Утро было совсем по-летнему солнечным, и только словно случайно оброненные желтые листья на дорожках да легкие, снующие в воздухе паутинки говорили о наступающей осени.

— Он погиб, когда наши части брали Одессу, и был похоронен здесь.— Дроздов остановился у небольшой зеленой ложбинки.— Потом мать перенесла его тело на кладбище. Хоронили мы Вову с боевыми почестями, с салютом.

Закуривая, Дроздов отвернулся, словно от ветра, а ветра не было.

— Уж в каких мы бывали переделках за эти тяжкие годы! Взрослые люди и то срывались. Нервы сдавали. А Вова только однажды заплакал. И знаете, отчего? Подходили к Одессе наши части. Я выдавал оружие тем, кто шел в боевую операцию. Гляжу, Вова мой тут же вертится.

«Тебе чего?» — спрашиваю.

«Мне оружие, товарищ командир. Я ведь тоже выхожу на поверхность».

«Нет, Вова, — говорю, — тебя я не назначал. Ты мне при штабе нужен».

Не хотел я, конечно, тогда на поверхность мальчонку выпускать. А он вдруг заплакал.

Дроздов даже приостановился.

— Заплакал, верите? «И не стыдно тебе,— говорю,— а еще партизан!»

А он мне сквозь слезы: «Да, партизан! Как разминировать входы, так я партизан! Как воду искать под землей, так я партизан! А как бить фашистов, так Вова — мальчик!»

И верно ведь, а? Как по-вашему? — спрашивает Дроздов, будто это имеет какое-то значение теперь. И продолжает после паузы:

— Дал я ему наган. «На,— говорю,— береги свое боевое оружие». Наган-то он уберег, а сам...

...Жил в Одессе, на Молдаванке, мальчик Вова Ниццак. Родители звали его почему-то ласково и бессмысленно Пуничкой. Детство Вовино было загорелым, босоногим, привольным. Он любил поваляться на горячем песке, отдаться на волю упругой зеленоватой волны, поудить головастых бычков, живущих под рыжими, скользкими от водорослей камнями...

А еще увлекался Вова голубями и катакомбами. К голубям родители относились терпимо. Катакомбы же находились под строгим запретом.

Несмотря на запрет, все свои сбережения от школьных завтраков и прочих «доходов» Вова тратил на электрические фонарики, батарейки, веревки, свечи — на то, без чего нельзя обойтись под землей.

Завороженный, как все поколения одесских мальчишек, жутковатой романтикой катакомб, Вова мечтал исследовать подземелье, раскрыть его тайны.

С надежным другом тайком от родителей Вова отправлялся странствовать по катакомбам. Вдвоем они исходили весь подземный участок в районе Молдаванки, составили план всех выходов.

— Было у этого хлопчика какое-то подземное чутье, — рассказывая о Вове, не один раз говорил Дроздов. — Какой-то талант к катакомбам...

В первые дни войны Вовин отец, железнодорожник, ушел на фронт. Вовиного друга куда-то увезла мать. Вова остался единственным представителем мужской половины человечества в их небольшом, увитом диким виноградом дворе.

Терпеливо, как когда-то отец, разъяснял он матери и соседкам положение дел на фронтах, приносил откуда-то перепечатанные на папиросной бумаге листовки, сводки Информбюро.

Иногда Вова исчезал из дому. Мать догадывалась: он в катакомбах.

Ужас охватывал ее. Ей казалось, что страшный приказ, грозящий смертной казнью каждому, кто знает выходы из катакомб и не сообщает о них в полицию, как дамоклов меч, повис над Вовиной головой. Ей казалось, что последняя строчка приказа — «Малолетние нарушители караются наравне со взрослыми» — адресована непосредственно ее сыну.

Когда Вова наконец возвращался, мать, рыдая, набрасывалась на него.

— Что ты лазаешь в эти проклятые катакомбы? — свистящим шепотом говорила она, беспокойно озираясь на двери. — Что ты там потерял? Ведь тебя, как щенка, пристрелят на месте, если только заметят.

Вова отмалчивался. Он бы не сумел объяснить матери, чем стали для него теперь катакомбы. Все, что было отнято, словно вновь возвращалось к нему, когда совсем один с фонарем в руках он бродил по узким каменным коридорам и, ничего не боясь, в голос затягивал любимую отцовскую песню:

Под тяжким разрывом
гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался...

Удивительное чувство охватывало его при этом — чувство собственной силы!

Да, здесь, под землей, происходило чудо: Вова становился сильнее захватчиков, патрулировавших по улицам его города, сильнее полицаев, которые, боясь нападения из-под земли, с оружием в руках сторожили выходы из катакомб.

Он чувствовал себя сильнее тех, на чьей стороне была сила, кто в любую минуту мог безнаказанно затоптать его жизнь.

И еще: каждый раз, спускаясь под землю, Вова втайне надеялся повстречать партизан. Разве не мог пригодиться им одесский мальчик, знающий катакомбы?!

На Головковской улице находился тот самый погребок, где встретились Дроздов с Мефтодовским.

Держала его некая тетя Оля, женщина простая, располагающая на вид.

— Посоветовались мы с Мефтодовским,— говорит Дроздов,— и решили идти в открытую. Выбрал я как-то момент, когда народа в погребке не было, подошел к стойке. «Слушай, — говорю, — Ольга, ты нам можешь вход в катакомбы указать?»

Та оглядела меня очень внимательно, подумала и, ни о чем не спросив, говорит:

«Я сама не могу, не знаю, но тут у нас один хлопчик есть».

Как живой, перед глазами Вовка стоит: худенький, хмурый, глазенки сердитые. Ольга его обняла за плечи, как маленького, подводит к нам. Вова еще сильнее хмурится, руку ее сбросил с плеча, спрашивает, кто такие.

Мы с Мефтодовским переглядываемся: что ему отвечать? И вдруг я вижу, что мальчик пристально смотрит на стол, у которого мы стоим. И не на стол даже, а на мою руку, которой я о стол опираюсь. А рука у меня приметная.

Дроздов поднимает левую руку: кисть у него искалеченная, беспалая.

— Многие меня по руке узнавали. А слух про наши дела тогда уже шел по Молдаванке. Я замечаю, что лицо у Вовы светлеет.

«Давайте-ка выйдем отсюда»,— говорит он.

Вышли на улицу. Мокрый ветер. Метель. Вова завел нас в какую-то подворотню, остановился и спрашивает:

«Вы партизаны, да?!» — А глазенки у него так и сверкают в темноте.

«Да, — говорю, — партизаны».

«Ладно,— шепчет нам Вовка, — я вам покажу один вход. Никто про него не знает. У меня там винтовка спрятана. Я ее у румына на сахар выменял. И бочка воды приготовлена про запас. А здесь поблизости еще входы есть. Только заминированные. Но мы разминируем. Я подглядел, где

Продолжение. См. «Огонек» № 46.

мины заложены. Только вы меня примете в отряд? Говорите сразу, по-честному!»

Что бы мы без Вовы делали в катакомбах, я не знаю. Это был такой проводник под землей! Как он нас выручал, всего не расскажешь. Но вот один эпизод. Было это в последние месяцы оккупации. Полиция тогда обнаружила наши выходы и наново их замуровала. Все как есть, до единого! Отрезали нас от мира, можно сказать! Положение очень тяжелое. Продовольствие на исходе, и, главное, нет воды.

Когда мы спускались в катакомбы, вода была. Сперва шли дожди, потом таял снег и влага просачивалась сверху, а когда пригрело доброе солнышко, все наверху высохло.

Виду, конечно, я не показывал, но беспокойство было большое.

Отрядили мы экспедицию на поиски выхода. Здоровые хлопцы пошли. Бродили около суток и вернулись: нет выхода!

Взял я Вовку тогда, отправились мы вдвоем. Как искали, рассказывать подробно не буду. Отошли от лагеря и заплутались. Бродим, бродим по лабиринту, и как будто бы черт нас кружит: возвращаемся на прежнее место. Ну, хоть плачь! А Вовка держится! И все повторяет, что выход где-то здесь должен быть. Как уж он ориентировался, не знаю. Откровенно скажу вам, выбился я из сил. Брожу за ним почти что в беспамятстве. А Вовка держится! Вовка меня ведет! И вывел!

Это даже не выход был — расщелина. Как мы с Вовкой припали к ней! Не скажу, чтоб дышали воздухом. Мы глотали его, как воду...

Помню, ночь на дворе стояла тихая, теплая. Луна взошла, осветила пустырь, развалины, одинокое дерево над канавой. Невеселый пейзаж.

А Вовка и говорит:

«До чего же красиво на земле, дядя Степа!»

Раньше так меня он не называл. Все, бывало, «товарищ командир».

Лежим мы с ним, как звери в берлоге, и нет у нас сил наружу выбраться. А тут налетел ветерок, потянуло степью, Вовка прижался ко мне головенкой и говорит:

«Какие ж мы раньше счастливые были, дядя Степа! Воздуху одного сколько было: хочешь — дыши, хочешь — не дыши...»

«ДЕД»

Дроздов рассказывал, как ему посчастливилось раздобыть комиссара для отряда.

— Было это весной сорок третьего года,— говорил он.— Проходил я как-то под вечер Сенным садиком, у нас, в Ильичевском районе. Иду со всеми своими причиндалами жестянщика, поеживаюсь. Холодновато, ветрено. В аллеях пусто, народу нет. Гляжу: дед — сторож, как видно, — старательно чинит сломанную скамейку. Опухший весь. Телогрейка на нем потрепанная. Такая досада меня взяла! Чего, думаю, старается?

«Хорошо, — говорю, — дед, оккупантам служишь, добро бережешь».

Он голову поднял, поглядел на меня внимательно и говорит:

«Та ще неизвестно, кому то добро будет. Може, оккупантам, а може...»

Дальновидный дед, думаю. Приглашаю его закурить. Садимся мы с ним на скамью, скручиваем цигарки, беседуем.

Ну, о чем люди больше всего говорили тогда меж собой? Где, мол, наши части сейчас. Чувствую: дед в положении на фронтах разбирается, а может, и знает кое-что.

«Ты кто же по довоенной специальности?» — спрашиваю деда.

«Сторож, — говорит, — только больше по магазинам. А ты?»

«А я,— говорю,— как видишь, жестянщик. Так всю жизнь по дворам хожу!»

Привлек меня чем-то этот дед. Вот бы, думаю, нам такого связного! Всегда на месте, всегда под рукой. И кто в нем подпольщика заподозрит?

Была у меня краюха хлеба в кармане. Вынул ее, разломил. Гляжу, дед, хоть и отворачивается, а глаза у него голодные.

«Пойдем ко мне,— говорю,— поедим горячего. Я отсюда не так далеко живу».

Он отказываться не стал. Пошли. Ужинаем. Беседуем. Вдруг дочка моя заходит, Людмила. Увидела деда и растерялась, даже забыла поздороваться.

«Ты чего?» — спрашиваю.

«Нет, я ничего. Чаю вам подогреть?»

Я вижу, что Людмила к деду приглядывается, а когда он ушел, спрашивает:

«Кто это, папа, был у тебя?»

«Сторож,— говорю,— из Сенного садика».

«Нет,— говорит,— папа, это не сторож. Это директор нашего педагогического комбината Дмитрий Иванович Овчаренко. Он коммунист».

«А ты не ошиблась?»

«Нет. Я в учебной части работала и видела его изо дня в день, вот как тебя сейчас. Он меня, может, и не узнал: в дирекции другая машинистка была».

Ладно, думаю.

На другой день снова прохожу садиком. Гляжу, «дед» на месте, трудится. Поздоровались, сели, закурили. Я и говорю ему:

«Как живешь-можешь, товарищ Овчаренко?»

У него глаза совсем круглые стали, цигарка в руке заметно дрогнула, но, вижу, признаваться не собирается. Делает вид, что не понял.

«Брось, — говорю,— чего там! Люди свои! Ты такой же сторож, как я жестянщик. А я Дроздов. Зовут Степаном. И на Молдаванке каждый пятый, пожалуй, сможет обо мне рассказать».



Д. И. Овчаренко.

Пробеседовали мы с ним тогда дотемна. Пошел разговор в открытую.

Рассказал мне «дед», что был он комиссаром Краснодарского военного училища и вместе с училищем ушел на фронт. В плен попал под Сталинградом. Удалось бежать. Вернулся в Одессу. Устроился сторожем на Молдаванке — надеялся, что найдутся люди: район рабочий.

Стали прояснять обстановку. У «деда», оказывается, группа подобрана из военнопленных. Они от садика невдалеке дорогу прокладывают. И я ему раскрыл свои карты. Прямо тогда сказал: я человек беспартийный, а вы коммунист. Берите на себя политическое руководство, я же по боевой части буду.

Выслушал он меня и согласился. Каждый из нас вручил другому свою судьбу.

— Здорово полегчало у меня на душе, когда появился среди нас Овчаренко,—вспоминал Дроздов.— Одно сознание, что старый коммунист, да к тому же еще по образованию историк... Вы не удивляйтесь: в тех условиях это имело большое значение, что он историк. Организацию подполья он изучал на историческом опыте, многое мог подсказать.

Народ наш принял Овчаренко хорошо. А Карпов, подручный мой, как-то и говорит: «Ты, Степан, напрасно скрытничаешь. Видно же, что человек к нам прибыл из центра и с полномочиями». Я не оспаривал.

Глаза Дроздова смеются.

К весне сорок третьего года группа Дроздова имела связь со многими подпольными группами, действовавшими в городе и окрестностях: на Пересыпи, Ближних Мельницах, в порту, в депо товарная, на городском телефонном узле, на Куяльницком лимане, на станции Вапнярка, на Раздельной — узловой железнодорожной станции, через которую проходили эшелоны с боеприпасами и вражескими войсками.

Кроме подпольных групп, в городе действовали или горели желанием действовать, искали подпольщиков, самоотверженно помогали им многие патриоты-одиночки.

— Комические бывали случаи,— рассказывал Дроздов. — Помню, идет однажды машина с оружием по Головковской улице, неподалеку от нашего центрального входа в катакомбы. Идет под охраной немецких солдат. Мы охрану убрали, шоферу наган к виску: «Давай, заворачивай!» А он спокойненько руку мою отводит и говорит: «А ну забери, хлопче, свою машинку. Я сам вас не первый день шукаю».

...«Партизаны пользуются большой симпатией населения, — отмечала в своих отчетах жандармерия оккупантов,— так что любое преследование остается безрезультатным...»

В сорок третьем году подпольная организация Дроздова насчитывала в общей сложности более двухсот человек. Она располагала запасами оружия, типографией, шестью радиоприемниками, подземной базой и фигурировала в отчете префектуры одесской полиции как «подпольный Ильичевский район».

Осенью сорок третьего года на расширенном совещании командиров подпольных групп был создан партизанский отряд имени Сталина.

— Мы об этом давно мечтали, — говорил Дроздов, — еще в сорок втором году, когда по нашим силам ни о каком отряде и речи быть не могло. Мне Мефтодовский однажды сказал: «Я, возможно, скоро умру, Степан, — его перед этим страшный приступ свалил, — а ты смотри: отряд должен быть!»

Командиром отряда утвердили Дроздова. Овчаренко стал комиссаром, Мефтодовский — редактором газеты «За счастье Родины»...

В двадцать шестую годовщину Октября весь наличный состав отряда слушал по радио доклад Верховного Главнокомандующего. А наутро на Успенском соборе, самом высоком здании города, поднят был красный флаг.

ФЛАГ НАД ГОРОДОМ

Вот теперь я могу рассказать подробнее о Марии Филипповне Винницкой.

В тот мой давний приезд, говоря о ней, Степан Ильич все подчеркивал ее безотказность в деле.

— Не то чтоб Мария отчаянная была,—словно раздумывая вслух, говорил он. — Но ее ничто, бывало, не остановит. Нет, она вот именно безотказная!

У него я видела фотографию Винницкой, ту, которая выставлена теперь в Историческом музее Одессы на партизанском стенде. Девушка в гимнастерке, с портупеей через плечо. Кубанка сдвинута набекрень. Из-под кубанки лихо выбивается локон. Очень непохожая фотография!

В жизни Мария Филипповна совершенно другая. Ничего нарочитого, броского, показного нет в этой женщине с медленным взглядом карих спокойных глаз, с решительной ямочкой на нежном, округлом подбородке, с неторопливой сдержанностью движений и интонаций.

До войны Винницкая училась в пединституте. В войну вступила в восстановительный батальон и обивала пороги военкомата — просилась на фронт.

Ей предложили работать в тылу врага. Мария дала согласие. Ее должны были вызвать. Собирались забросить в один из оккупированных районов, но, видимо, не успели. Приказ о сдаче Одессы последовал неожиданно.

Вскоре после прихода вражеских войск Марию арестовали. Кто-то донес, что она комсомолка и оставлена в большевистском подполье.

В сигуранце у Винницкой требовали выдать явки, фамилии, адреса. Она молчала под пытками. Убеждать, что не знает? Кто бы поверил этому?

Ничего не добившись, следователь решился на хитрость. Он был почему-то уверен, что девушка эта — «Мари большевик» (большой большевик) и от нее тянется нить к оставленному подполью.

Он мог уничтожить эту девушку. Но важнее было раскрыть организацию. Винницкую выпустили из сигуранцы, установили слежку за ней. Почувствовав это, Мария бежала из-под надзора. Конечно,

она рисковала жизнью, но об этом как-то не думалось. Одна только мысль владела ею в ту пору: бороться!

У своей подруги по институту Мария однажды встретила девочку-подростка.

«Твоя тезка,— кивнув на девочку, сказала подруга, — можешь говорить при ней не стесняясь: Муся — своя».

Ни о чем особом они не говорили. Только пересказывали друг другу последние новости, слухи. О планах своих и замыслах Мария не говорила никому.

А девочка как будто и не слышала их разговоров. Сидела тихонькая, как мышка, не поднимая глаз от работы. Она распускала старые чулки, а подруга перевязывала их на чулочной машине. Продавали чулки на рынке, тем и жили.

Как-то вечером они вышли вместе: девочка и Мария. Шли молча, а когда дошли до угла, где Винницкой надо было сворачивать, девочка неожиданно удержала ее:

«Погодите минутку, я хочу вам что-то сказать».

Она оглядела пустынную улицу и, приблизив свое лицо к лицу Марии, не сказала, а словно выдохнула:

«Нас шесть человек. Мы вместе учились в школе. Мы дружили и дружим теперь. Мы дали клятву».

Голос ее сорвался, и Мария не разобрала последних слов.

«Мы расклеиваем листовки. Только я замечала, их почти не читают, — призналась горестно девочка.— Поглядят и отходят...»

«А что вы пишете?»

«Призывы! Чтоб люди боролись. Вы помогите нам.— Девочка говорила все настойчивее. — Я ничего не знаю про вас, но чувствую, вы, наверное, связаны с кем-то».

Связана?! Мария невольно качнула головой. Ее не впервые подозревали в этом. Она была одна, а людям почему-то казалось, что есть за ней какая-то сила и что знает Мария гораздо больше, чем говорит.

«Мы решили бороться,— горячо повторила девочка,— помогите же нам!»

Они долго ходили в тот вечер по безлюдным, притихшим переулкам. Мария расспрашивала девочку о каждом из шестерых, задавала самые неожиданные вопросы. Ей хотелось почувствовать каждого в подробностях его домашней и школьной жизни, уловить особенности характера.

Представляют ли эти ребята, на что идут?

Из всех шестерых по каким-то ей самой не очень ясным тогда приметам Винницкая выбрала только двоих: эту девочку Марию Дубровину и Георгия Дюбакина, ее одноклассника и друга. Она как-то сразу, по рассказам своей темноглазой тезки, поверила в него.

— Какой он был? — вспоминала теперь о Дюбакине Мария Филипповна. — Длинноногий, застенчивый, голубоглазый подросток, угловатый и мужественный. Открытый и настороженный, готовый тотчас уйти в себя.

В том же Историческом музее я видела фотографию Георгия тех времен. Совсем еще юное лицо, с мягкой линией подбородка, с твердым очерком добрых губ, с широко поставленными, доверчивыми глазами.

Вот они-то: Георгий Дюбакин, Мария Дубровина и Вера Саприянова, с которой Винницкая сидела в сигуранце, — составили первое ядрышко молодежной подпольной группы Винницкой, группы, которую позже в отряде прозвали «Уши и глаза катакомб».

О том, как был поднят флаг на Успенском соборе, мне рассказывала теперь Мария Филипповна.

— Не знаю, как это вам объяснить,— говорила она,— но сводки, листовки, диверсии — это было будничной, обычной, что ли, нашей работой. В годовщину же Октября хотелось сделать что-то



Георгий Дюбакин.

такое... показать нашим людям: есть в Одессе такая сила!

...Мы приближаемся к Успенскому собору. Уходит ввысь его трехэтажная колокольня. На фоне ярко-синего неба темнеют очертания креста.

— Ночь под седьмое ноября сорок третьего года, — говорит Мария Филипповна, — была такая туманная, что в двух шагах от себя ничего нельзя было различить. Собор затонул в тумане, угадывался только по очертаниям.

Закинув голову, я гляжу на купол собора. Поблескивающий на солнце свежей масляной краской, он кажется абсолютно круглым и неприступным. Добраться по нему до креста?! Это невозможно себе представить.

За оградой, слева от главного входа в собор, маленькая, почти незаметная дверь.

— В эту дверь вошел в ту ночь Жора, — говорит Мария Филипповна. — А мы с Дубровиной ожидали его у калитки.

За несколько дней до той ночи Георгий Дюбакин с приятелем появились за оградой собора. Шел ремонт. Собор обновляли изнутри и снаружи. По двору сновали рабочие.

Молодые пижоны в модных шляпах и пиджаках с нарочитым вниманием оглядывали собор, громко говорили, мешая румынскую и немецкую речь. Они изображали строительную инспекцию. Потом подозвали десятника. «Инспектор» хотел поглядеть, что делается внутри.

Десятник распахнул перед ними боковую дверь. Внутри громоздились леса.

«Я сам»,— сказал Георгий, жестом отпуская десятника, и, стараясь запомнить каждую мелочь, стал подниматься по лесам. Он проделывал свой будущий путь.

— Мы стояли в ту ночь, ожидая Жору, — рассказывает Мария Филипповна, — и нам все казалось, что ночь уходит, что скоро начнет светать. А тут еще мимо собора шли немецкие танки. Мы боялись, что свет их фар, рассекавший туман, выдаст Жору.

А Георгий поднимался на колокольню, в темноте, ощупью находя тот путь, который наметил днем. До колокольни — по лесам. В первом этаже колокольни — по витой лесенке. Во втором этаже — времянка. В третьем этаже лестницы не оказалось. Жора шарил руками. Пустота! Четыре голые стены. Как добраться до купола? Георгий закрыл глаза, стараясь представить себе все, что приметил здесь днем. Он закрыл глаза и «увидел» канат! Снаружи, слева, закрепленный где-то у купола, болтался канат, которым рабочие поднимали ведра с цементом.

Нащупав окно, Георгий высунулся и, шаря руками, задел в мокрой темноте канат.

Под тяжестью его тела посыпались вниз маленькие камешки, кусочки застывшего цемента. Шум, усиленный эхом, оглушил его, как грохот обвала. Георгий замер, прижавшись к окну. Услышат? Шум затих. По канату Георгий добрался до купола.

Внизу громыхали танки. Свет их фар скользил по нижней части собора. Жора осторожно пополз, держась за выступающие ребристые швы. Даже не пополз, а потянулся всем телом вверх, ухватился руками за круглое подножие креста, поднялся во весь рост и, обняв рукой крест, другою вытащил из-за пазухи знамя.

На высоте гулял ветер, такой, что мог снести Георгия, как пылинку. Крепко держась за крест, он привязывал к нему знамя, а ветер рвал полотнище из рук.

Медленно и осторожно Георгий проделал обратный путь. На втором этаже колокольни он остановился, прислушался. Казалось, не ветер — ураган бушевал наверху, казалось, что он сорвет знамя. Холодея от ужаса, Георгий снова полез на купол, достал из кармана нож, вырезал глубокие зазубрины на кресте и накрепко привязал к ним знамя.

— Что творилось в то утро в Одессе! — вспоминает Мария Филипповна.— Прилегающие к собору улицы были запружены толпой, а народ все шел и шел.

Знамя висело почти до полудня. На стенах собора черной краской мы написали: «Minen». Румынские солдаты отказывались лезть наверх.

Наконец, пробившись с трудом сквозь толпу, у собора остановилась черная, покрытая лаком машина. Это прибыл немецкий генерал. По его приказу под дулами автоматов солдаты стали взбираться на купол.

...Остаток вечера мы провели у Дюбакина. По дороге Мария Филипповна предупредила меня:

— Вы его ни о чем не расспрашивайте: не любит; замкнется и замолчит. Вот если сам разговорится...

Ни о чем я Георгия не расспрашивала. Сидела тихонько на диване, рассматривала альбом с его портретными зарисовками (он отлично рисует. Что ни лицо — характер!) и прислушивалась к тому, о чем они говорили с Марией.

Они очень давно не виделись, и разговор их все время перемежался горячими, отрывочными



Успенский собор.

воспоминаниями, которые ощутимей, чем связный рассказ, воссоздавали картину пережитого. Вспомнили о ноябрьской ночи сорок третьего года. И Георгий неожиданно рассказал нам то, чего до сих пор не знала даже Мария.

Тот приятель, который вместе с ним разведывал обстановку в соборе, обещал помочь Георгию вывесить знамя.

— Он такой отчаянный парень был, — говорил Георгий. — Воровал с немецкого склада оружие и «спускал» на базаре. Я рискнул, привлек его. Вдвоем, думаю, надежнее. Ничего я, конечно, не раскрывал перед ним. «Давай, — говорю, — провернем мы с тобой такую затею!» Как будто из озорства.

Он сперва согласился. А когда настало время идти, раздумал. «Бросай,— говорит,— Жорка, это дело. Что мы с этого будем иметь? Петлю на шею?» Вот я и пошел один.

— А вы не боялись, что он предаст? — спросила я.

— Мысль такая была, — признается Георгий. — Решил рискнуть. Выдать он мог только меня одного.

Осмелев, я спросила:

— Очень страшно было?

— Когда? — уточнил Георгий.— Когда лез на купол? Теперь мне кажется, что не страшно. Некогда было бояться: такое напряжение! Испугался я позже. В городе только и говорили о знамени. Куда ни придешь — в кабачках, в кино и просто на улицах. Город был взбудоражен. Рыскали повсюду шпионы. И я боялся сам себя выдать. Чем? Да выражением лица. Мне казалось, что стоит только взглянуть на меня, когда разговор заходит о знамени, и все понятно. Я старался никуда не выходить из дому.

Я спросила:

— Георгий, а вы от природы храбрый?

Он ответил искренне:

— По-моему, нет. В детстве, например, я был даже чересчур осторожен. Даже на ходу с трамвая не прыгал. Другие ребята были куда отчаяннее; взять хоть этого парня, о котором я говорил. Я им всегда завидовал.

— А как же знамя?

— Так ведь это совсем другое!

Он словно бы снисходил к моей непонятливости: это же для идеи! Для дела!

Окончание следует.

МИСТЕР ГРЕГГ И ЕГО ЗНАКОМЫЙ „ДИМКА"

Галина ШЕРГОВА

Фото Е. Умнова и Б. Кузьмина.



Видите, мистер Грегг, как реагировали на ваше творчество Альфонс Могар, Пьер Градор, Ги Тальва и Виктор Понсо!

Мы идем вам навстречу, мистер Грегг. Понимая ваш честолюбивый порыв, мы даже поддерживаем его. Вам, скромному «учителю русского языка в небольшом колледже Новой Англии» (как вы сами отрекомендовались), хочется оттиснуть свое имя на журнальных страницах? Что ж, пожалуйста...

И раз уж червь честолюбия понудил вас взяться за перо и написать статью для «Харперс мэгэзин», будет справедливо, если не только ваши соотечественники узнают имя Ричарда А. Грегга.

Я ознакомила с вашим «произведением» большую группу гостивших в Советском Союзе французских туристов. И, смею вас заверить, мистер Грегг, ваше творчество вызвало среди них самый живейший отклик.

Теперь мы обязаны представить вас и советскому читателю.

Мистер Р. А. Грегг — молодой американец, обладающий ворсистым пальто и такой же ворсистой душевной организацией. Оба обстоятельства отчетливо и неоднократно подчеркнуты им самим. Из статьи мистера Грегга в «Харперс мэгэзин» мы черпаем сведения о том, что он пишет диссертацию о некоем «русском поэте».

Таким образом, любовь к изящной словесности и привела мистера Грегга в Россию. Правда, как выясняется из статьи, поездку финансировал «один из фондов», скромно не названный автором. Забежим несколько вперед и скажем, что внимательный анализ «произведения» м-ра Грегга позволяет нам думать, что этот «фонд» довольно далек от «строф и рифм». Мистер Грегг встречался с нашей молодежью и пожелал написать об этом. Французские туристы, также встречавшиеся с нашими юношами и девушками, пожелали прокомментировать писания мистера Грегга.

Итак, мистер Грегг вышел на ленинградские улицы и попал «...в море унылых граждан в потертой одежде». Он везде встречал «опущенные глаза, тяжелые походки, враждебные, замкнутые, унылые лица».

Трудно объяснить эту трансформацию, но когда на те же улицы вышел французский животновод Анри Радуг с друзьями, то им навстречу двинулись оживленные толпы людей, которые, как сказали французы, «любят жить и смеяться».

На одной из улиц Грегг познакомился с бледнолицым юношей в расстегнутом пальто и нечищенных ботинках, который позднее представил Греггу своих приятелей: Димку, Иру и Бориса. Грегг был приглашен в гости к Димке и Ире.

Представьте себе: подобная встреча произошла и на улицах Киева у наших французских гостей. Булочник Ги Тальва, студент Жильбер Буранс и их приятель, железнодорожник из Тулузы, тоже были остановлены внезапным «Бонжур!», произнесенным киевским студентом Анатолием, который пригласил их к себе в гости и познакомил со своими друзьями — капитаном Полукановым и другими.

Грегг с присущей ему аналитичностью вскоре смог сформулировать интересы своих новых знакомых «в порядке нарастающей важности: 1) картины абстрактного искусства, 2) спекуляция в самых широких масштабах, 3) что-нибудь из Америки, особенно, если это было ярким, кричащим». Впрочем, как сообщает мистер Грегг, «абстрактное искусство вскоре было отодвинуто в сторону более насущными потребностями советского общества: что бы я мог продать?»

За этим, однако, следует сообщить одну деталь, которая, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы мы прервали обмен впечатлениями между американцем и французами. «Кроме нескольких пачек сигарет и экземпляров нью-йоркских газет на русском языке, с помощью которых я надеялся наставлять людей на американский путь, у меня не было ничего, что бы я мог продать», — пишет мистер Грегг.

Оказывается, любовь Грегга к «русскому поэту» несколько выходила за пределы хореев и анапестов (что, видимо, относится и к некоему «фонду», субсидировавшему поездку Грегга).

Однако вернемся к нашему рассказу.

Когда мы вместе с французскими гостями прочли особенно пространные сарказмы м-ра Грегга по поводу «серости и необразованности советской молодежи», они пришли в веселое возбуждение.

— Ха! — сказал техник Жерар Парозис.— Этот американец говорит о культуре и интересах! Не из тех ли он американцев, которых мы узнаем в Париже по бутылке виски, торчащей из кармана?.. А их интересы: «Сколько вы зарабатываете?» и «Сколько стоит эта машина?».

После техника говорили остальные французские туристы, видевшие советскую молодежь своими глазами. Я едва успевала записывать: «Жармен Лукард — преподаватель, Клод Паскаль — журналист, Пьер Градор — ветеринар, Альфонс Беаль—преподаватель...»

Они вспоминали киевскую девушку, говорившую об итальянском дирижере Роберто Бенци, и молодого железнодорожника, спорившего о французском импрессионизме; они отсылали американца посмотреть заводскую библиотеку текстильной фабрики в 40 тысяч томов, послушать концерт самодеятельности в колхозе под Киевом, побывать вместе с сотнями молодых слушателей на лекциях в Эрмитаже.

Анонимный Димка, как сообщает мистер Грегг, подарил ему книжку, названия которой он даже не знал.

Ги Тальва тоже подарили книжку, подарил автор, двадцатилетний колхозный поэт Олесь Лупий.

Возможно, вспоминая к ночи об официальной цели своей поездки, мистер Грегг и листал стихи своего «русского поэта», но он не удосужился поговорить о нем со своими невежественными знакомыми.

А Жильбер Буранс говорил с ленинградской студенткой об их общей специальности — электронике — и только диву давался серьезности познаний своей собеседницы.

Знакомство Грегга и Димки закончилось якобы тем, что русский приятель «спер» у американского друга бумажник.

Странное совпадение! У одной из француженок — мадам Градор — тоже произошла история с сумочкой. Она забыла ее возле тележки мороженщика. Но через несколько минут м-м Градор догнал запыхавшийся незнакомый юноша и вручил ей забытую вещь.

В своих упражнениях мистер Грегг сообщает (правда, довольно бегло) о том, что он познакомился в театре с девушкой Ниной. Оказывается, Нина была поражена тем, что этот специалист по русскому искусству абсолютно не знает русской живописи. Нина потратила на него несколько часов в музее, открывая азы «просвещенному» гостю.

Мистер Грегг не остался в долгу.

«...Я подумал, что мог бы отплатить за ее доброту искренностью», — пишет мистер Грегг. И без перехода продолжает: «Моя критика советских порядков...»

Клод Паскаль: «А заводская библиотека в сорок тысяч томов!»

«Нина прерывала меня, но каждый раз я обрывал ее резким опровержением или грубым сарказмом»...

Как видите, единственное, чем мог отплатить Грегг за любезность советской девушки, — это



Жильбер Буранс: «Я был восхищен знаниями этой девушки, когда мы говорили об электронике!»

обрушить грубую ругань на порядки ее Родины. Единственное, что он мог продать,— антисоветские американские издания.

Французские туристы — старые пенсионеры Мариус Метр и Виктор Понсо — приехали к нам в страну, чтобы узнать правду о нас. Они заявили: «Действительность превзошла наши ожидания». Преподаватель Альфонс Могар вторично приехал к нам, чтобы увидеть широкую поступь великого государства; он тоже написал статью о советской молодежи, но как она не похожа на ваши желчные экзерсисы, мистер Грегг!

Французов было пятьдесят один. Более чем с половиной из них я говорила. Я не могу привести все высказывания. Но вместе с Виктором Понсо они заключали: «Мы восхищены увиденным и не хотели бы уехать, не сказав об этом».

Теперь можно сделать и некоторые выводы. Французские туристы были. Мистер Грегг, финансируемый неким «фондом», был. А вот был ли Димка — неизвестно. Мы, конечно, можем предположить, что мистер Грегг в попытках найти созвучную для себя душу наткнулся на какого-нибудь проходимца. Что ж, это возможно: идеи «фонда» и антисоветские газетенки в чемодане влекли мистера Грегга к себе подобным.

Что же касается вашей жажды популярности, мистер Грегг, то мы сделали все возможное, чтобы ей содействовать.

ОТ СОРОКА ЛЕТ...

Е. ШАТРОВ

Фото А. Бочиннна.

Никого не пришлось уговаривать. Никого не надо было агитировать. Стоило появиться в Москве афишам, извещающим, что на Центральном стадионе организуются занятия физкультурой для людей среднего и пожилого возраста, как началась осада Лужников телефонными звонками.

Представители самых различных профессий, а с ними и пенсионеры, домашние хозяйки спрашивали об условиях приема в комплектуемые группы. Условия оказались самые доступные. Занятия два раза в неделю, утром или вечером. Заниматься может каждый, кому разрешат врачи. Желательный возраст — от сорока лет и выше.

Однако в плановые наметки жизнь и тут вносила свою поправку. Звонит инженер А. Речкина, интересуется, как вступить в группу «средних и пожилых».

— Простите... А сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— Только-то! Вам лучше заниматься физкультурой в своем спортивном обществе, по месту работы.

— Не берут!

— Почему не берут?

— Говорят, что я бесперспективная, что я не покажу хороших результатов...

Увы, так говорили не одной Речкиной! В похвальном рвении охватить физкультурой побольше молодежи работники спортивных обществ часто отмахиваются и от пожилых людей и даже от тех, кому всего лишь под тридцать. Рекорды и разряды превратились для них в самоцель, заслонившую оздоровительные задачи нашей физической культуры. К этому стали уже привыкать, с этим стали, хотя и неохотно, мириться... И вдруг приглашение Центрального стадиона: приходите все, приходите и седые, и толстые, и с одышкой. Повторять приглашение не понадобилось. Вскоре пятнадцать групп «средних и пожилых», созданные на первое время, были заполнены. Пришлось принять и Речкину и других, еще далеких от седины.

...Мы в большом, отлично оборудованном спортивном зале. Ровно в семь часов вечера тут выстраивается шеренга мужчин. Среди них — инженеры, юрист, механик, деятели науки... У большинства — кабинетная работа, после которой тянет к движениям.

— Начнем, товарищи! — говорит инструктор А. Гусалов.— Прежде всего проследим за пульсом.

Проследить за пульсом придется и в середине занятий и в конце. Он покажет, не испытывает ли организм излишней нагрузки.

Шеренга поворачивается и шагает по залу. Ходьбу сменяет небольшая пробежка, потом опять мерный, спокойный шаг.

— Дыхание! Глубже вдох! — напоминает инструктор.

Затем группа начинает разнообразные, интересные гимнастические упражнения. Лица розовеют, выше поднимается грудь, кое у кого блеснули капельки пота. Гусалов это уже заметил. Объявляется короткий отдых.

В сегодняшний урок входят и упражнения с использованием гимнастического «коня», и веселая силовая игра, и волейбол на свежем воздухе. Методика занятий со «средними и пожилыми» разработана Научно-исследовательским институтом физкультуры. По состоянию здоровья люди разбиты на три группы. Перед нами одна из подготовительных групп, но есть и так называемые основные — для тех, кто покрепче здоровьем, есть и специальные — для тех, кто послабей.

Каждая категория «средних и пожилых» довольна характером и дозировкой выполняемых ими упражнений. Все рады, что скоро в занятия ввели затем плавание, легкую атлетику. И все, с кем мы говорили, чувствуют себя после занятий физкультурой лучше, бодрее.

Вот несколько маленьких интервью, проведенных в группе инструктора Гусалова, когда его подопечные, блаженно улыбаясь, уже выходили из душа.

Конструктор Николай Иванович Варвар, 50 лет:

— Хорошо! Замечательно!.. Я ведь и раньше занимался физкультурой, но, так сказать, диким способом... Разве можно сравнить мою самодеятельность с тем, что получаешь здесь?!

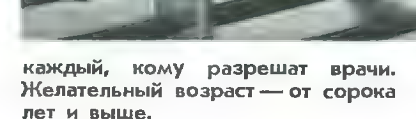
Механик Максим Григорьевич Момот, 57 лет:

— Спасибо, что не забыли нас, пожилых! Занятиями очень доволен. Надеюсь перейти в основную группу.

А один 66-летний физкультурник даже уверял, что после третьего занятия на стадионе его перестали посещать приступы подагры.

Можно не сомневаться, что объективные данные медицинского обследования покажут улучшение здоровья многих «средних и пожилых». Разве не заманчивая перспектива?

Нужное, полезное дело начато в Лужниках. Хороший почин должны подхватить все стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны, теннисные корты, подхватить всюду, где только они есть. Рядом с юными и молодыми — место людям среднего возраста, место пожилым. Ибо «лет до ста расти нам без старости», писал поэт.



Занятия в одной из женских групп.



На свежем воздухе.



Игра веселая и полезная.

У каждого свой «характер»



Цветет виктория-круциана.

В Сухумский ботанический сад несколько лет назад поступил плод лотоса. Его высадили в открытом бассейне, и теперь лотос разросся на весь бассейн. Он необычайно красив, но умеет скрывать это. Когда его листья плавают на поверхности, они невзрачны. Но вот лист погрузили в воду, и сверху он мгновенно засверкал серебром, а снизу точно покрылся золотом! Розовый цветок лотоса под водой тоже сверкает и серебрится, словно елочная игрушка. Брызните на лист — капли скатываются, как ртутные шарики, лист остается совершенно сухим. Однажды кто-то из экскурсантов пошутил: «У лотоса можно поучиться текстильщикам, делающим материал для плащей». Разломите стебелек лотоса — и из него, как паутинки, потянутся липкие нити. В древней Индии из них делали фитили для светильников...

У мимозы интересный «нрав». Притронетесь к ней или хотя бы подуйте на нее — мимоза мгновенно замрет, крепко сожмет свои резные листочки. За это и прозвали ее «стыдливой». Но как засушить для гербария листочек мимозы? Для этого ее «усыпляют»: ставят рядом пузырек с эфиром. Мимоза, «надышавшись» его парами, уже не реагирует на прикосновения в течение 15—20 минут.

Совсем иной характер у «индийского гостя» — месмодиума. Маленькие верхние его листочки круглые сутки как бы потягиваются, шевелятся, машут соседним растениям. Очень похоже на зрительный телеграф! Англичане, пришедшие в Индию, так и назвали месмодиум — «телеграф».

«Эмигрант» из Бразилии — антуриум — является рекордистом по цветению. До девяноста дней держится его цветок — жирный розовый лепесток и розовый початок.

А скромный желтый цветочек водяного «мака» живет только сутки, поэтому на его стебельках всегда свежие цветы. Между прочим, нигде больше в Европе водяной «мак» не произрастает. Французский ученый академик Вильморен, побывавший в Сухуми, поздравил с удачей сотрудников ботанического сада.

Виктория-круциана, растущая в открытом бассейне в Сухуми, с листьями, напоминающими огромную чашу, расцветает точно «по расписанию»: в августе — в девять часов вечера, в сентябре — в половине девятого, в октябре — в восемь. Снежно-белый ее цветок через каждые пять — шесть секунд импульсами источает аромат, похожий на запах разрезанного ананаса. Каждое растение за июль — октябрь дает до 20—25 таких цветков.

Ап. ПЕТРОВ

Сухуми.

Необычный маяк



Из воды торчит колокольня одной из церквей города Калязина. В результате сооружения Угличской гидростанции Волга в этом районе разлилась и затопила церковь. Колокольня, хорошо видная издали, служит своеобразным маяком для судов.

А. РЫСКИН

Ленинград.

Фото Г. Чистова.

СХВАТКА С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

Зима выдалась снежная, с частыми и сильными пургами. Полярному зверю, особенно белому медведю, стало трудно добывать себе пищу во льдах Чукотского моря. В такую погоду нерпа не выходит на лед, пришлось голодному медведю идти на промысел к человеческому жилью. Так и появился утром в нашем поселке белый «хозяин». Голодный зверь осторожно подкрался к одному из жителей и напал на него сзади. Завязалась борьба. На помощь подоспел находившийся поблизости тов. Платов. Он схватил попавшую под руку железную трубу и сильным ударом сразил медведя насмерть.

Н. БАНДУРИНА

Мыс Шмидта, Магаданской области.



Смарагд, Самоцвет, Сапфир

В совхозе Никоновском, Московской области, корова по кличке Схема принесла трех бычков-близнецов. Бычка с черными передними ногами назвали Смарагдом. Второму бычку, у которого, как говорят у нас в шутку, мать чулки перепутала, дали кличку Самоцвет. Третьего, белоногого, решили назвать Сапфиром. Бычки хорошо растут. Завидев телятницу, льнут к ней в надежде получить по кусочку сахара.

Н. СМИРНОВ,
главный зоотехник совхоза.

Ценная находка

Ученики 6-го класса школы № 1 города Чернигова Миша Симон и Владимир Джунковский возле экскаватора, копавшего котлован для строительства жилого дома, нашли в земле две металлические вещи, поврежденные ковшом экскаватора. Одна из них оказалась серебряной чашей времен Киевской Руси с интересным орнаментом, а вторая — крышкой вазы XV—XVI веков из высокопробного золота. Вес ее — 368 граммов.

Сотрудники музея на месте раскопок обнаружили остатки жилищ древнего Чернигова. Там же был найден клад золотых вещей XII века.

В. МУРАШКО

Чернигов.



Золотая крышка вазы.
Фото Г. Петраша.



Серебряная чаша.

Друг лебедя



Февраль в Воронежской области был необычным в нынешнем году: температура держалась выше нуля, таял снег, вскрылись реки. Почувствовав раннюю весну, появились пролетные дикие утки и гуси. Потянулись и лебеди к местам своих гнездовий. Но вот неожиданно вернулась зима и ударили морозы.

Проходя по полю, охотник К. Угаров заметил на свежевыпавшем снегу большую кочку. «Кочка» оказалась... лебедем-шипуном. Лапы у него были обморожены. Около сорока дней ухаживал охотник за больной птицей, и она окрепла. На самолете доставили лебедя в Воронеж и передали в военно-охотничье общество.

А. РАГОЗИН

Воронеж.

Второе цветение

Интересное явление можно было наблюдать нынешней осенью в Харькове: второй раз в этом году зацвели на площади Тевелева каштаны.

Е. ГРЕЧКО,
учитель

Змею кормят с рук

Свердловский зоологический парк получил посылку. В ящике оказалась партия пресмыкающихся: шесть полозов, змея-стрелка, среднеазиатский удавчик. Пойманные в Средней Азии змеи чувствовали себя на Урале неважно, неподвижно лежали, свернувшись в клубок, и не принимали пищу. В террариум посадили белых крысят. Однако и это не расшевелило змей: они не обращали никакого внимания, хотя крысята бегали по ним.

Змеи с каждым днем слабели, и в зоопарке решили применить искусственное кормление. Накормить змей взялся старый рабочий Валентин Петрович Замшин, который еще в детстве возился с пресмыкающимися, а затем много лет выступал в цирках как укротитель змей. Осторожно взяв большого полоза, Замшин стал проталкивать пинцетом в его пасть кусочек мяса. Тут уж хочешь не хочешь — глотай! Змей кормили с рук несколько раз, пока они не окрепли и не стали есть самостоятельно.

Б. КОЧЕВ

Свердловск.



Фото О. Зайкова.



Л. и Ю. ЧЕРЕПАНОВЫ.



Дождь — это даже удобно.



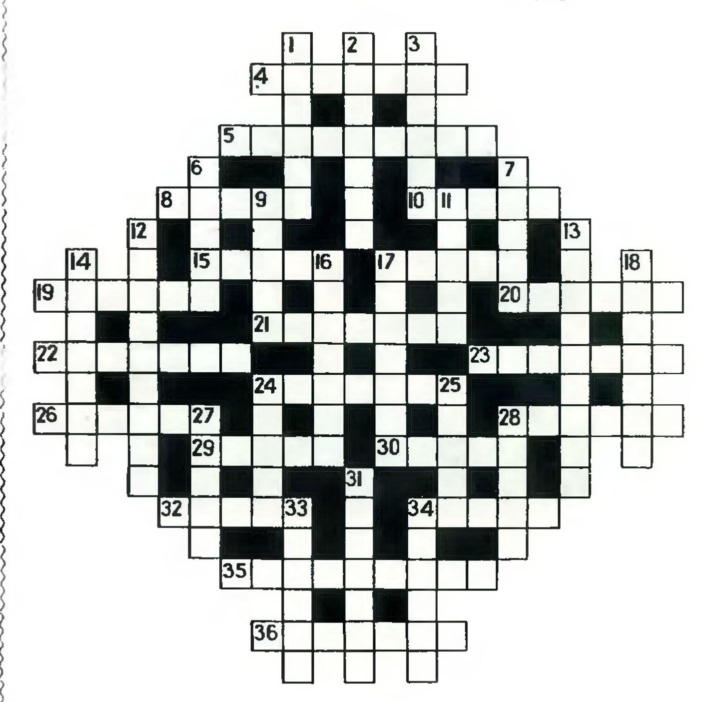
«Он же ведет себя, как страус!»



А говорят, подкова к счастью...

«Напои, красавица, водой!»

КРОССВОРД



По горизонтали:

4. Персонаж трилогии А. Толстого «Хождение по мукам». 5. Короткое сатирическое стихотворение. 8. Народная игра с мячом. 10. Одно из самых древних и массовых искусств. 15. Доклад о работе. 17. Рудоносная порода. 19. Горный массив в Китае. 20. Столица союзной республики. 21. Звезда в созвездии Скорпиона. 22. Осенний сорт яблони. 23. Советский скульптор. 24. Плотное соединение проводов в электрической цепи. 26. Река в Архангельской области. 28. Трагедия В. Шекспира. 29. Точное воспроизведение оригинала. 30. Ледяная глыба. 32. Материал, изготовляемый из специальных сортов бумаги. 34. Щит для размещения экспонатов. 35. Врачебная трубка. 36. Курорт в Казахской ССР.

По вертикали:

1. Персонаж комедии А. Н. Островского «Таланты и поклонники». 2. Повторение части музыкального произведения. 3. Химический элемент. 6. В прошлом — казачий войсковой лагерь. 7. Немецкий поэт. 9. Знак препинания. 11. Приток Куры. 12. Прибор для определения влажности воздуха. 13. Руководитель научного учреждения. 14. Государство в Южной Америке. 16. Спутник планеты Уран. 17. Воинское звание. 18. Группа певцов. 24. Шахтное сооружение. 25. Редкий радиоактивный минерал. 27. Животное семейства оленей. 28. Время года. 31. Китаист. 33. Растворитель в производстве лаков. 34. Часть круга.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 46

По горизонтали:

4. Дубрава. 7. Копулировка. 10. Клодт. 12. Кижуч. 14. Оранжевая. 18. «Шурале». 19. Аджмир. 20. Броунов. 21. Романо. 22. Азимут. 23. Вьетнамка. 26. Милле. 27. Аргос. 30. Просвещение. 31. Сабинин.

По вертикали:

1. Дудук. 2. Эрмитаж. 3. Автол. 5. Рондо. 6. Акция. 8. Ультрамарин. 9. Кульмамедов. 11. Троеборье. 12. Каравайка. 13. Кашприн. 15. Намолот. 16. Единица. 17. Каретка. 23. Влора. 24. Немезия. 25. Аршин. 28. Устав. 29. «Гений».

ОПАСНЫЙ ПОДАРОК

В западногерманском журнале «Ди Ур» рассказано о следующем случае.

Директор радиоинститута в Лос-Анжелосе профессор А. Шомакер несколько лет назад заболел профессиональной болезнью радиологов — лучевой болезнью. Врачи не могли приостановить развития болезни, Шомакер умер. За несколько часов до кончины он снял со своей руки часы и подарил их своему другу адвокату О'Даниэлю. Вскоре адвокат тоже заболел лучевой болезнью, хотя никогда не прикасался к радию. О'Даниэль обращался ко многим врачам, но болезнь прогрессировала. Врачи и специалисты стояли перед трудной загадкой.

Странным случаем заинтересовался один знаменитый нью-йоркский радиолог. Было совершенно ясно, что распадающаяся субстанция радия могла быть перенесена на адвоката только через покойного профессора. Радиолог долго исследовал отношения между ними и однажды, услышав о подарке, пришел к страшной догадке. В результате тщательного исследования он обнаружил в часах небольшую дозу радия.

После расследования новому директору института было предъявлено обвинение в убийстве радием. Под влиянием внезапности обвинения и неопровержимости фактов тот сознался, что подарил радиоактивные часы своему учителю Шомакеру. Он не ожидал, что таинственный убийца, который днем и ночью посылал свои смертельные лучи, может быть обнаружен, и воспользовался украденным радием, чтобы занять место в радиоинституте, которое при здоровье бывшего директора являлось для него недосягаемым.

Преступник умер на электрическом стуле.

Л. ЛОЗБЕН

САМЫЙ...

САМЫМ быстрым существом на земле является живущее в Северной Англии насекомое цефеномия. Оно преодолевает в час 1 300 километров.

САМЫМ быстрым из четвероногих является гепард, который в состоянии пробежать в час 100 километров. Львы и жирафы развивают скорость 9—10 метров в секунду, зайцы—22, страусы—25.

САМЫЙ тяжелый новорожденный — детеныш голубого кита. Он весит 2 000 килограммов и имеет длину 7 метров.

САМЫМ сильным по отношению к собственному весу животным является жук-носорог. При весе в 14 граммов он способен тащить груз весом в 1 580 граммов.

САМАЯ огромная пасть у гренландского кита: ее длина 6,5 метра, ширина — 4 метра, кит может разинуть ее на 4 метра в высоту.

На вкладке этого номера четыре страницы репродукций картин Международной выставки изобразительного и прикладного искусства на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве и четыре страницы цветных фотографий.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ. Редакционная коллегия: В. Ф. БАРЫКИН, А. С. ВАРШАВСКИЙ, Н. Н. КРУЖКОВ, Л. А. КУДРЕВАТЫХ (зам. главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, Е. Н. ЛОГИНОВА, Т. З. СЕМУШКИН, И. А. УРАЗОВ.

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», 24. Рукописи не возвращаются. Оформление И. Уразова.

Телефоны отделов редакции: Секретариат — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 3-38-67; Литературы — Д 3-31-83; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-65; Юмора и сатиры — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 10028. Подписано к печати 13/XI 1957 г. Формат бум. 70×108⅛. 2,5 бум. л.—6,85 печ. л. Тираж 1 200 000. Изд. № 1287. Заказ № 2779.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.



Заслуженный артист РСФСР Олег Попов.

Фото В. Киврина.

ена номера 3 руб.

